

Лидия Чарская

Ее величество Любовь



Лидия Алексеевна Чарская

Ее величество ЛЮБОВЬ

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=635945

Лидия Чарская. Повести и рассказы:

Аннотация

Давно уже старый дом в Отрадном не видал такого громадного стечения публики. На любезное приглашение радушных хозяев съехалось почти все окрестное русское и польское общество, мелкие и крупные помещики, считавшие за особую честь побывать в гостинной Бонч-Старнаковских. Офицеры и артиллеристы из недалекой, в нескольких верстах отсюда, находившейся крепости, семейные и холостые, съехались на спектакль...

Содержание

Часть первая	5
Глава I	5
Глава II	20
Глава III	25
Глава IV	32
Глава V	39
Глава VI	47
Глава VII	56
Глава VIII	65
Глава IX	74
Часть вторая	82
Глава I	82
Глава II	88
Глава III	96
Глава IV	101
Глава V	109
Глава VI	121
Глава VII	130
Часть третья	136
Глава I	136
Глава II	142
Глава III	152
Глава IV	164

Глава V	173
Часть четвертая	184
Глава I	184
Глава II	192
Глава III	201
Глава IV	210
Глава V	218
Глава VI	228
Глава VII	240
Глава VIII	251
Глава IX	260

Лидия Алексеевна Чарская

Её Величество Любовь

Часть первая

Глава I

Волнующий и острый, как запах экзотического цветка, уносится под своды белого зала мотив танго.

Толя, в новом, с иголки, военном кителе, узких рейтузах и высоких ботфортах, бережно держит в своих объятиях стройную фигуру Зины Ланской и каждый раз, как прелестная вдовушка, извиваясь змеею, наклоняется совместно с ним к блестящим квадратикам паркета, шепчет ей что-то значительное в её розовое ушко.

А в большие старинные окна белого зала смотрит ясный июньский вечер. Алой кровью брызжет уходящее солнце и на оконные стекла, и на китель Толи, и на рыжие пушистые волосы Зины, кажущиеся сейчас огненным пламенем костра. Дразнящая мелодия танго, приобретая какую-то особенную выразительность под искусными пальцами корнета Луговского, извлекающего ее из чуть разбитых струн старинного рояля, и рыжие волосы Зины, пронизанные умирающими

лучами солнца, и раздражающе красивые движения на диво подобранной красивой пары танцоров, – все это дает впечатление чего-то первобытно-вакхического и утонченно-заманчивого в одно и то же время.

Треть зала отгорожена высоким помостом сцены, устроенным для предстоящего любительского спектакля. Сейчас с высоты его Вера, Муся с Варей, корнет Луговской, сидящий за роялем, и «любимец публики» следят, не спуская взоров, за каждым изломом своеобразно-чарующего и наивно-бесстыдного танца, твердо обосновавшегося минувшей зимой во всех «укромных» уголках Петербурга.

Пронсясь мимо сестер, Толя поворачивает покрасневшее лицо с блестящими глазами в их сторону и кричит с дурашливой миной: «Девочки, прячьтесь!.. Разве не видите? Становится неприличным», – и, тотчас же ловким движением притянув свою даму, бросает ей на ушко:

– Я люблю вас, Зина, и так готов был бы кружиться с вами всю жизнь.

Вдовушка смеется. Она всегда смеется в ответ на такие «эксцессы», и этот смех волнует офицера не меньше её близости под мотив танго.

А потом она начинает возражать ему.

Какой вздор!.. Он любит, маленький Толя, которому она годится в прабабушки! Да и умеет ли он еще любить? Да, любить он умеет, но не ее, Зину, свою старую кузину (она умышленно подчеркивает «старую», прекрасно сознавал все

обаяние своей пышно распустившейся двадцативосьмилетней красоты), а свой полк, товарищей, семью, сестер, «Аквариум», «Виллу Родэ», «Палас-театр» и некую крошку Жильберту, которая и научила его так бесподобно плясать танго.

И Зина опять смеется своим раздражающим смехом, как могут смеяться только русалки на озере в воздушную лунную ночь.

Её кавалер весь закипает негодованием. Пользуясь каждым движением танца, сближающим их фигуры и головы, он говорит взволнованно и тихо, так тихо, что Зина одна только может услышать его:

– Зина!.. Злая, жестокая! И вам не стыдно? Мало того, что измучила, – еще дразнит, гадкая детка. Ну, да, Жильберта – не выдумка, а – увы! – факт неоспоримый... Но чем же я виноват, что эта маленькая француженка подвернулась как раз тогда, после того кутежа на масленой – помните, Зина? – когда вы... когда вы...

– Довольно!.. Довольно! Я – не любительница сильных ощущений и боюсь пробуждения ревности больше всего! – притворно испуганно восклицает она. – Пощадите, мой милый! Не хотите ли вы посвятить меня в тайну ваших отношений к маленькой профессорше танго?

И опять смех, раздражающий, пьянящий смех русалки.

На красивом, свежем лице Анатолия появляется злое выражение.

«Подожди! Посмеешься ты у меня когда-нибудь!» – про-

носится сладострастно-жестокая мысль в его мозгу, и он до боли сильно сжимает тонкую кисть Ланской.

– Ай! – вскрикивает Зина. – Вы с ума сошли, маленький Толя! Я – не поклонница подчинения грубой силе. Пожалуйста запомните это раз и навсегда.

Она говорит это и в то же время вся отдается капризному ритму танца, увлекаемая за собой и кавалера.

Танец исполняется бесподобно, все восхищенно следят за ним.

Даже корнет Луговской, играющий на рояле, не в силах сдержать свой восторг. Он обрывает мотив танго на полфразе, выскакивает из-за рояля и кричит, бешено аплодируя:

– Bravo! Bravo! То есть удивительно как хорошо! Неподражаемо! Настоящие профессиональные танцоры! И знаменитая Жильберта в «Вилле Родэ»...

Тут блестящий лакированный сапог со шпорой незаметно нажимает его ногу.

– Тс-с-с! При сестрах-то! – шепчет Толя с растеряннo-комическим лицом.

– Пожалуйста, не стесняйтесь! Мы – не дети и отлично понимаем, как вы проводите свободное время в столице. Не правда ли, Варюша? – звенит тонкий, мелодичный голосок младшей из сестер Анатолия, его любимицы, шестнадцатилетней Муси.

Это – еще не сформировавшаяся, но удивительно мило-

видная девчурка, с такими же живыми, сверкающими задором и радостью жизни глазами, как и у брата.

Та, к кому она обращается, – бесцветная, тихая, застенчивая девушка, её подруга по институту, – молча, с испуганным смущением глядит в её карие, задорно поблескивающее глаза.

– Ха-ха-ха! Очаровательно, детка! Молодчинище! Вы прогрессируете, сударыня, – раскатывается беспечным, веселым смехом Анатолий, хватая за руки младшую сестру и кружась с нею по сцене.

– Ну, да, конечно молодец, если на то пошло, – лукаво и бойко поглядывая на мужчин, посылающих ей одобряющие улыбки, продолжает Муся. – Ну, да, я говорю исключительно только правду и притворяться не желаю. Мы – не дети. И танго многие из нас в дортуаре по вечерам танцуют, и открытки с Жильбертой, популярнейшей его исполнительницей, не стыдятся иметь у себя. Ведь это – красота, а красота и мелкий стыд несовместимы.

– Bravo! Дальше, детка, дальше!

– Муся! Муся! Перестань! Что ты? – с искренним ужасом срывается с тонких губ старшей сестры, Веры, от прямой, худощавой фигуры которой, от строгих черт и темных, без блеска, спокойных глаз, как и от всего её смуглого лица, веет чем-то суровым, как от древней, византийского письма, иконы.

– Полно, Верочка, ничего нет дурного в том, что я гово-

рю! – еще веселее и задорнее подхватывает Муся. – Не хочу притворяться наивной деточкой, не хочу лицемерить и ханжить, не замечать величия красоты там, где это не принято. И врать не хочу тоже. Ну, да, мне нравятся раздражающая, капризная музыка танго – мотив его, нежащий и как будто убаюкивающе-усталый, и ритм его, и движения, как нравится всякое другое смелое начинание, как нравятся рыжие, обесцвеченные нашатырем и перекисью, волосы Зины и...

– Муся! Муся! – и ужас вселяется в невыразительные до этого, молчаливые глаза Веры.

– Ничего. Оставь ее, кузиночка!.. Продолжай, Муська! Это прелесть что за девчонка, право! – не совсем искренно и шумно восторгается вдовушка, у которой при упоминании о нашатыре и перекиси водорода горячий румянец выступает на слегка тронутом косметикой прелестном лице.

– Ах, нет, не буду говорить больше, не хочу! Пожалуй с Верой удар еще сделается. Ведь все, что я говорю сейчас, не принято, неприлично в обществе, и за это маленьких детей секут розгами и ставят в угол! – и пухлые губы Муси надуваются, и все лицо становится капризным и совсем ребяческим в эту минуту.

«Любимец публики» признает этот момент очень удобным, чтобы подойти к ней.

– Вы прелестны, – говорить он неестественным тоном, наклоняясь к поэтично растрепанной темно-русой головке, – и

дорого бы я дал – честное слово! – чтобы этот маленький ротик, враг условностей, трафарета и пережитков гнилой традиционности, сказал мне что-нибудь такое приятное, от чего... Кровь в моих жилах забурлила бы, как огненная лава.

Его лицо, гладко выбритое, рыхлое лицо стареющего актера, с плотоядной улыбкой и выпуклыми глазами дышит на Мусю запахом дорогой сигары и цветочным одеколоном, которым он ежедневно обтирает себе щеки после бритья. Сладкий и пряный аромат каких-то исключительно дурманных и крепких духов исходить целой струей от его безупречно сшитого светлого костюма и ударяет в голову.

Муся чувствует инстинктивное отвращение к «любимцу публики» – или, вернее, к артисту частных петербургских театров, Думцеву-Сокольскому, привезенному; братом Толей из столицы для постановки их любительского спектакля.

Думцев-Сокольский чувствует себя здесь, в этом чудесном уголке Западного края, в старинной усадьбе Бонч-Старнаковских, как в раю. Полный отдых на лоне живописной природы, отличная кухня, обилие интересных женщин, как вино, дурманят мозг актера. Очаровательная вдовушка, племянница хозяина, действует на него, как бокал шампанского, своей эксцентричностью, обаянием красивой, свободной женщины и «шиком». Вторая дочь помещиков, Вера, величавая, строгая, замкнутая, со смуглым иконописным лицом и суровыми глазами, возбуждает его восторг и поклонение уже иного свойства, как ценителя всего сильного, каким во-

ображает себя Виталий Петрович Думцев-Сокольский, не без основания прозванный «любимцем публики» шалуньей Мусей за его полные самохвальства рассказы о бывалых и небывалых театральных успехах.

Нынче он, как и все находящееся здесь в зале мужчины, по уши влюблен в шикарную вдовушку, только что так умело продемонстрировавшую пред ними модный танго. Но за вдовушкой ухаживать опасно. Ее безумно и безнадежно любит молодой хозяин дома, товарищеским отношением с которым, хотя бы случайным, завязавшимся за бутылкой шампанского, он, Думцев-Сокольский, очень дорожит. Все-таки Анатолий Бонч-Старнаковский, продолжатель древнего аристократического, когда-то польского, теперь вполне обрусевшего, рода – богатый, блестящий офицер одного из лучших кавалерийских полков России, и выступать его конкурентом на поприще достижения благосклонности очаровательной Ланской и неумно, и опасно. Да и незачем это, когда под рукою находится такая прелесть, как Муся! Она будит его, Думцева-Сокольского, уже притуплённое воображение, затрагивает приумолкшие голоса чувственности и приятно волнует его затрепанную в бесчисленных закулисных и светских интригах натуру.

– Прелесть моя! Детка! – шепчет он, еще ближе наклоняясь к поэтичной, с короткими, как у мальчика, кудрями головке. – Прелесть моя, почему вы не желаете провести на практике то, о чем так смело проповедуете? А? – нисколь-

ко не смущаясь присутствием неотлучной Мусиной подружки, тихой, бесцветной Варюши, и уставясь своими бычьими глазами в миниатюрное, неправильное личико, цедит сквозь зубы Думцев-Сокольский. – А, детка?

Девочка поднимает на него карие искрящиеся глазки, и сейчас они мечут пламя.

– Во-первых, не смейте называть меня деткой! Вам уже сто раз говорилось это, – сердито роняет Муся. – А во-вторых, отодвиньтесь. Терпеть не могу, когда мне дышат в лицо табаком.

Она демонстративно выскользнув из-под руки опешившего Сокольского, отбегает в дальний конец сцены, увлекая за собою и свою молчаливую подругу. Отсюда девочки соскакивают на пол и прячутся в глубокой нише окна, за шелковой занавеской. Оно раскрыто настежь, и ветерок слабо колышет занавеску. Невидимые никому из присутствующих в зале подружки могут здесь перемолвиться словом.

– Терпеть его не могу. Противно мне его ухаживание, – все еще сердито говорит Муся. – Когда он руку целует, чувствуешь, точно жаба тебя коснулась, а вот когда Луговской – ничего, ни чуточки не гадко. А ведь он и некрасивый, и неинтересный, только что играет на рояле хорошо. Вот поди ж ты! Почему это, Варюша? – и пытливые карие глазки так и пронзают взглядом лицо подружки.

– Не знаю, Мусик, право, не знаю. Вероятно потому, что с Луговским ты давно знакома – ведь он бывает у вас в доме

еще со времени своего пребывания в корпусе, а Думцев всем вам чужой, – тихо отвечает бледная девушка.

– Ах, не то, не то! – пылко перебивает ее Муся. – Пойми, я люблю, чтобы за мной ухаживали, люблю видеть себя окруженной мужчинами, люблю будить в них того, знаешь, злого зверька с острыми зубами, который называется мужской страстью, и в их увлечении мною находить успокоение от моей постоянной болезни. Да, да, именно болезни, Варюша. Или ты не знаешь, что я ранена на смерть, что о нем только, о далеком и милом, моя мечта? Его я буду любить вечно. Целые пять лет люблю его, с одиннадцатилетнего возраста. Смешно сказать даже, а это – святая правда. Еще девчонкой я адски втюрилась в него с первого взгляда и с тех пор мечтаю о нем. Ты знаешь, пройдут еще два-три года – и я стану шипеть, как старая дева, или ханжить, как Верочка. Этого нельзя, того нельзя; это неприлично, то не принято. И все оттого, что он не для меня, что он – не мой. Я и теперь часто бываю зла, как кошка. Зина ведь хорошенькая? Правда? И адски шикарна, правда? Но вот послушай, Варюша, совесть ты моя. Ведь ты – моя совесть, Варечка: только тебе одной я всю свою душу выливаю. Да, так вот нынче я нарочно прообесцвеченные волосы Зины брякнула... Не веришь? Ей Богу! Думала, если он меня не любит – мечта моя, сказка моя, греза моя далекая – так пускай же и всех других меньше любят все их поклонники – и Китти, и Зину, и всех... С Зины я и начала. Собственно говоря, что в ней хорошего? Нос туф-

лей, крашенная, рыжая, рот до ушей, однако все вместе адски шикарно и тонко, и пикантно, и...

Муся хмурится, сжимает крошечные кулачки, и скорбный огонек появляется в её глазах.

– Медам и мсье, прошу на сцену. Пора начинать второй акт. Так мы никогда не дотащимся до конца пьесы, – разнится по залу красивый, немного носовой голос «любимца публики», привыкшего к тому, чтобы все им восхищались.

Но его на этот раз никто не слушает. Вдовушка стоит пред креслом Веры и, блестя зеленоватыми глазами и сверкая белыми хищными зубками, говорит, обращаясь к последней, не то искренне, не то шутя:

– Боже мой, Верочка, вот ты опять недовольна мною. Ну, да, да, я знаю... Ты – сама корректность, воплощенная добродетель и понятно опять осуждаешь безумную Зину за то, что она, насмотревшись на всяких Бланш, Жильберток и Маргошек, рискнула перенести их искусство сюда, под сень старинного аристократического дома, и продемонстрировать здесь отчаянное танго, которому место только в злачных, укромных столичных уголках. Непростительное легкомыслие, не правда ли, Верочка?

– Ну, знаете, кузиночка, я думаю, что тени предков, витающие под этой кровлей, весьма и весьма не прочь полюбоваться на такую шикарную исполнительницу-дилетантку, и прабабушки – я уверен в этом – уже устраивают сцену ревности прадедам за их чересчур пылкое увлечение вами нын-

че, – смеется Толя.

– Вы противный и потому молчите. Я говорю с Верочкой, а не с вами. Слышите, Анатоль, молчать! – пухлою ручкой шутиливо ударяет офицера по плечу вдовушка.

– Я умер, – паясничает Толя.

– Ну, Верочка, правду я говорю? – и ласково, по-кошачьи Зина жметса к своей строгой кухне.

Та взглядывает на нее темными, без блеска, глазами.

– Пустяки, Зина!.. Ты же знаешь. Я не люблю только, когда ты выкидываешь свои эксцентричный шутки при девочках. Муся и так преждевременно развита. Мама и Китти уезжая оставили ее на моем попечении.

– И останутся конечно вполне довольны результатами такого покровительства, – снова вмешивается в их беседу Анатолий. – У нашей Веры с пеленок развиты педагогические способности. Она была бы незаменимой воспитательницей в каком-нибудь *couvent*¹ за границей. Вторая сестрица у меня – образец строжайшей дисциплины и соблюдения нравов.

– А ты все шутишь, Анатолий! – и Вера смотрит на брата своими строгими глазами, но они уже полны выражения нескрываемой нежности.

Мгновенно хорошеет её холодное, замкнутое лицо и молодеет сразу под наплывом теплого чувства.

¹ Закрытое женское учебное заведение при католических женских монастырях, куда обычно, до закона о закрытии монастырей, французская аристократия отдавала на воспитание своих дочерей. (*фр.*)

Все они три – она, Муся и отсутствующая старшая сестра Китти – горячо привязаны к своему единственному брату, весельчаку, кутиле и милому ветренику Толе. Красавица-Китти прозвала брата «Фру-фру», и, это прозвище как нельзя больше подходит к юноше. Веселый, всегда ровный, общительный, рубаха-парень, что называется, и доброты необычайной, Анатолий Владимирович Бонч-Старнаковский слывет не только любимцем своей семьи, но и своего полка, и того кружка, в котором он вращается. Но больше, чем кто-либо другой, его любят мать, отец и сестры. И, глядя на брата и отвечая ему, даже холодная Вера находит в себе те изумительно не подходящие к её типу теплоту и нежность, которые сейчас бросают краски в её смуглые щеки и зажигают лаской её строгие, молчаливые глаза.

– Господа! Еще раз призываю вас всех к порядку, – надрыгается «любимец публики». – Я начинаю репетицию и прошу вас молчать, – и он отчаянно звонит в колокольчик.

– А где же остальные исполнители? Где Маргарита Федоровна? Где «Попугайчики»? Где Рудольф? – пулей вылетая из-за шелковой занавески, кричит Муся.

– Они подойдут к своей сцене. «Попугайчики» дали слово быть непременно.

– А Рудольф?

– Я здесь.

Все взоры обращаются к двери.

На пороге зала стоит высокая, плечистая, с военной вы-

правкой, фигура молодого человека. На нем прекрасно сшитый штатский костюм, подчеркивающей эту безукоризненную фигуру. Крупная, тщательно причесанная на пробор белокурая голова, подстриженные рыжевато-белокурые усы, холодные, немного выпуклые, цвета стали, глаза, смотрящие как-то уж слишком прямо и напряженно, и яркий малиновый рот с большими белыми зубами, обнаженными сейчас в улыбке.

– Я здесь... Аккуратен, как видите, – говорить вновь прибывший, как-то странно, точно не по-русски, выговаривая слова и все еще улыбаясь одними губами, тогда как глаза продолжают оставаться серьезными.

– Ага! Мсье Штейнберг! Отлично! Прыгайте сюда к нам, и начинаем репетицию. Живо! – командует «любимец публики», издали театральным жестом приветствуя вновь пришедшего.

Рудольф Карл Август фон Штейнберг – сын Августа Карловича Штейнберга, старого управляющего Отрадным, именем Бонч-Старнаковских, – красивой и легкой походкой переходить зал и так же легко и красиво, минуя лесенку, ведущую на подмости, поднимается туда, ухватившись руками за доски пола и напрягая и без того сильные мускулы.

– Адски ловко! Bravo, Рудольф, bravo! – кричит в восторге Муся и хлопает в ладоши.

– Что и говорить!.. Скульптура! – улыбается Толя.

– Мсье Рудольф, сколько пудов вы выжимаете одной ру-

кой? – кокетливо стрельнув в его сторону чуть подтушеванными глазками, осведомляется Зина.

– Рудольф, берегись! Еще одно слово кухни в твою пользу – и готовь маузеры. Двадцать шагов расстояния, завтра, на восходе солнца, за садом. Луговской – мой секундант; твой – «любимец публики», – и Анатолий делает трагическое лицо.

– Ай, как страшно! Молчите, молчите! Я не выношу крови! – хохочет Зина.

За нею смеются остальные. Уж очень забавен Анатолий со своими вращающимися во все стороны глазами и рыкающим голосом.

Одна Вера остается серьезной. С минуты появления Рудольфа Штейнберга здесь, на пороге белого зала, что-то странное происходит с девушкой. Её черные глаза ярко загораются, тонкое лицо вспыхивает темным румянцем смуглянки, и Вера Бонч-Старнаковская в этот миг становится настоящей красавицей.

Глава II

Вот уже вторую неделю репетируется здесь, в большом белом зале Отрадного, исполнителями-дилетантами чудесная, полная скрытого трагизма и внешне обвеянная голубыми крыльями поэзии, популярнейшая пьеса Чехова «Вишневый сад». Предстоящий спектакль является подарком младших членов семьи её старшему представителю и главе, Владимиру Павловичу Бонч-Старнаковскому, очень крупному чиновнику дипломатического мира и помещику, владельцу одного из прекраснейших имений Западного края, расположенного неподалеку от прусской границы.

Семья Бонч-Старнаковских, благодаря службе и положению самого Владимира Павловича, принуждена вести открытую жизнь в Петербурге. Дом тайного советника Бонч-Старнаковского поставлен на широкую ногу. Высшие петербургские кружки общества считают необходимостью бывать у Старнаковских на их четвергах. Их ложу знают все посетители первого абонемена Императорской оперы. На *concerts huppés*² отличаются в обществе брата и его товарищей по оружию обе старшие барышни: и красавица Китти, и вторая смуглая, похожая на монахиню, Вера. Младшая, Муся, еще учится в одном из фешенебельных институтов столицы.

² Состязания в верховой езде, устраиваемые обычно в Великом посту в Михайловском манеже, в Петербурге.

Всюду, на всех аристократических балах появляются старшие барышни Бонч-Старнаковские; их знает весь высший свет Петербурга.

Семья Бонч-Старнаковских является последней представительницей старинного польского аристократического, теперь давно уже обрусевшего, рода. Когда-то предки Бонч-Старнаковских гремели на весь Западный край и во времена свободной Польши являлись маленькими царьками-магнатами.

Увы! От всего прежнего магнатства предков потомкам остались теперь лишь одно славное имя да большое имение в сердце Польши.

Это имение, сданное на полное попечение честнейшего в мире немца, Августа Карловича Штейнберга, ежегодно и очень охотно в летнее время посещалось, несмотря на далекое расстояние от столицы, его владельцами.

Сам Владимир Павлович Бонч-Старнаковский приезжал сюда погостить на какие-нибудь две-три недели, чтобы отдохнуть на лоне деревенской природы; но это случалось тогда, когда ему не представлялась хотя бы малейшая возможность ехать за границу, где он от времени до времени лечил расшатанную нервную систему. Его супруга, Марья Дмитриевна («генеральша», в устах прислуг, постольку, поскольку и сам он, тайный советник, являлся Для них «генералом»), ежегодно лечила в Карлсбаде свои больные почки. Муж обыкновенно провожал ее туда и ехал дальше. Но в это

лето совместная поездка не удалась; дела удержали «генерала» в Петербурге, и Марья Дмитриевна принуждена была ехать в Карлсбад со старшей дочерью, красавицей Китти, и её женихом, Борисом Мансуровыми, молодым, но уже подающим надежды, чиновником.

Несмотря на отсутствие трех членов семьи, в Отрадном было исключительно весело в это лето. Главе семейства удалось нынче вырваться на несколько дней из душной, столицы в старое родовое гнездо. Удалось и его сыну Анатолию урваться на короткое время из лагеря со своим другом, Никсом Луговским, и прилететь в милое Отрадное, где с самого начала лета жили его сестры, Вера и Муся, гостили очаровательная вдовушка, их кузина Ланская, и подруга Муси, Варя Карташова. Старый прадедовский палаццо дрожал от взрывов молодого, часто беспричинного смеха, от громких, радостных голосов, звуков музыки и хорового пения.

Весь этот дом со своим двухсветным, перерезанным большими колоннами, залом, со своими хорами и старинными диванами эффектно дисгармонировал с молодым, резвым и веселым обществом, собравшимся в нем. А оно чувствовало себя прекрасно и в белом зале с колоннами, и в портретной галерее, и в бильярдной, словом, во всем этом прадедовском гнезде, где, казалось, в темные загадочный ночи еще витали тени умерших предков. В густых, тенистых аллеях сада с его бесчисленными затеями, с его классическими статуями, гротами и воздушными кружевными беседками, по-

висшими над старым прудом, – в этом густом, тенистом саду все еще дышало таинственной прелестью старой родовой саги. Она рассказывала о милом былом, ткала чудесные узоры вымысла, переплетенные с былью, о гордых паннах и паненках со жгучими очами и о блестящих рыцарях Свободной Польши, носившихся в лихой мазурке и удалом краковяке и умевших не одними только боевыми подвигами завоевывать себе благосклонность кокетливых красавиц.

Увы! Времена прекрасных рыцарей и гордых паненок давно миновали, и наглядным воспоминанием о минувшем являлись только старые портреты в полу облупившихся золоченых рамах на стенах современной портретной галереи.

Впрочем и все Отрадное уже не представляло собою прежнего маленького царства польских магнатов, вельмож старого времени. Оно значительно сократилось в своих размерах, не имело тысяч даровых работников, руки которых являлись бесконечным источником золота для беспечных панов-хозяев. Однако оно все же было очень доходно. Немец-управляющий сумел на свой лад культивировать обрусевшее поместье, и – надо отдать ему полную справедливость – ввел здесь образцовый порядок. В сравнительно недолгий срок под его ловкими руками возродилось запущенное было поместье. Теплицы и оранжереи наполнились плодами, овощами, цветами; из-за границы были выписаны редкие породы роз, любимых цветов «генеральши»; сильные, сытые рабочие лошади и породистые грациозные кони

под верх и запряжку красовались в тщательно отремонтированных конюшнях; рогатый скот не оставлял желать ничего лучшего. Не менее успешно шли и огородничество, плодоводство, и – главное – полевое хозяйство. Пять тысяч десятин, оставшихся потомкам былых магнатов, давали довольно крупную цифру дохода нынешним владельцам. Словом, Отрадное вполне оправдывало свое назначение, и притомившиеся в зимний сезон Бонч-Старнаковские могли с успехом отдохнуть в летние месяцы на лоне природы.

Глава III

Ночь – душистая, трепетная, ароматная. Кажется, будто темная, душистая влага, пролитая из незримого, фиала-колосса, опрокинувшегося над землей, так и застыла в воздухе, полном таинственных, непроницаемых, опьяняющих чар, нежащей, знойной мглы, заставляющей мечтать о серебряной сказке месяца, о золотых огнях высокого неба – гордых и ласковых звездах.

Но сегодня черная бархатная мгла ревнива. Она грозно стережет непроницаемость своего мягкого покрывала – ни месяца, ни звезд, ни серебряной, ни золотой сказки.

Нашумевшись, накричавшись и наспорившись вдоволь, молодежь разошлась после ужина по своим комнатам.

Чернота ночи и знойная духота её помешали прогулке. На завтра решено было подняться пораньше, чтобы репетировать, репетировать и репетировать без конца. Спектакль, приноровленный ко дню рождения главы семейства, был не за горами. После него должна была разъехаться вся мужская половина общества: сам старый хозяин дома, Толя, Никс Луговской и «любимец публики».

Последний весь отдался сейчас постановке спектакля. Он мастерски распределил роли: сам взял себе благодарную, трудную и красивую роль стареющего кутилы-барина, разорившегося помещика Гаева, ту, которую так неподражаемо

вел на образцовой сцене покойный Далматов; его сестру, кокетливую, обаятельную, чуждую предрассудков, легкомысленную барыньку, играла Зина Ланская; её дочь, прелестного, поэтичного ребенка Аню, – Муся. Варя должна была изображать горничную Дуняшу, типичную вскормленницу господ. Роль Вари, старой и спокойной приемной дочери Раевской, поручили Вере, великолепно подходившей к её типу, роль же гувернантки Ани – Шарлотты Ивановны – репетировала экономка Маргарита Федоровна, старая дева, ненавистница мужчин, крикливое и несноснейшее в мире существо. Бесподобен был уже и теперь, на репетициях, лакей Яша в исполнении Толи; Трофимова играл сын священника Вознесенский, студент духовной академии, а Лопахина – жесткого, молодого, но «из ранних», купца-кулака, скупившего Вишневым сад у бывших господ своего отца-крепостного, – Рудольф Штейнберг. Комическую роль управляющего взял на себя Никс Луговской; роль лакея Фирса поручили другому студенту, товарищу Ванечки Вознесенского, Петру Петровичу, носившему крайне комическую фамилию Кружка. Оба юноши, за неимением других исполнителей приглашенные в аристократический кружок богатых помещиков, чувствовали себя здесь не в своей тарелке, ужасно стеснялись, краснели, потели, держались безотлучно один подле другого и оба с самого начала репетиций в одинаковой мере и силе влюбились в Мусю. Она от души смеялась над ними и за глаза постоянно называла их «Попугайчиками».

Весь старый палаццо погружен в глубокий сон, и только в одном окне его виден приветливый огонек свечи. Вера Бонч-Старнаковская еще не легла; она сидит перед зеркалом и, машинально глядя в его шлифованное стекло, заплетает в толстую косу на ночь свои пышные, длинные, черные, как притаившаяся за окном ночь, волосы. Эти волосы – единственное богатство внешности Веры; они примиряют их обладательницу с остальными недочетами её: с безжизненным, никогда не отличающимся свежестью, старообразным лицом, с сухою, костлявою, слишком прямою фигурой, с мрачными, суровыми глазами и строго сжатыми губами.

Вера доплетает косу, но её чуткое ухо ловить малейший звук в саду...

Даже глаза как будто прислушиваются; они темные, обычно спокойные – теперь как-то тревожны, напряжены.

«Неужели не придет? Неужели что-нибудь помешает? Неужели, как и в прошлую ночь, помешает опять?» – проносится в её голове, и нервно, сильно, до боли сильно бьется в груди мятежное сердце.

Все обычное спокойствие изменяет девушке; она то и дело отводит глаза от зеркала и бросает взгляд в бархатную мглу ночи.

Что это? Кажется, огонек? Ну, да, это – он, его огонек, его сигара. Или нет... Она ошиблась снова – не он...

«Ты – сама воплощенная добродетель!» – слышится Вере откуда-то издали звонкий голос Зины Ланской, и она багро-

во краснеет. Это она-то – добродетель, Вера Бонч-Старнаковская, как преступница, выжидающая каждую ночь позднего ночного часа, чтобы урывком, мельком перекинуться словом с тем, кого она любить пламенно и бурно, со всею страстностью и силой своего рода, в жилы которого влита лава, а не кровь? Недаром она худеет, недаром темные круги замыкают кольцами её суровые глаза. Которую уже ночь она не спит, ожидая, когда все утихнет и успокоится в доме, а там бесконечные беседы с любимым вплоть до рассвета, до первых предрассветных сумерек утра.

О, какая мука и какое блаженство – эти их ночи, о которых никто и никогда не узнает, не должен знать! Это – их тайна, их счастье. Она, Вера, не крадет этого счастья ни у кого. Она свободна. Неужели она не имеет права хотя бы на крупицу такого счастья, каким пользуется её сестра Китти, уже ставшая невестой любимого человека? Или оттого только не имеет, что она некрасива? Вздор какой! При чем тут красота? Он любить ее такую, какая она есть, а она, она...

Вера, едва не задохнувшись, спешит к окну, смотрит с минуту и чуть не вскрикивает от радости: огонек светится теперь совсем близко от её окна.

– Вы? – шепчет она так звонко, что этот шепот достигает до ушей того, кто, окутанный мглою, притаился под её окошком.

На мгновение ярче вспыхивает огонек и, описав искрящийся вольт, совсем исчезает из вида. Из темноты ночи на

площадку перед домом, чуть освещенную огнем свечи, горящей в комнате Веры, выступает рослая, сильная фигура.

– Вы? – еще раз почему-то спрашивает Вера, хотя отлично водить, что это – он, тот, к кому стремится её сердце, кого зовет неустанным зовом душа.

– Фрейлейн Вера, как вы неосторожны! Эта свеча... Могут увидеть, и тогда... – чуть слышно звучит заглушённый мужской голос.

– О, я ничего не боюсь! Я вас люблю, вы же видите. Я люблю вас безумно, Рудольф, и пойду для вас на все, – со страстью и силой вырывается из груди девушки.

– Дорогая фрейлейн Вера! – странно закругляя своей особенной манерой фразы, отвечает Штейнберг, – вы же знаете, что я сам люблю вас больше жизни. Вы же знаете это. Я каждое мгновение готовь пожертвовать собою для вас, ради вашего спокойствия и счастья, охотно дам выпустить каплю за каплей всю кровь из моих вен, милая девушка. Но пока, вы же знаете, я должен молчать о своей любви. Кто вы и кто я? – подумайте сами, фрейлейн Вера! Вы – Бонч-Старнаковская, красавица, богачка, представительница старинного рода, я же – маленький офицер прусского гарнизона, ничтожный, маленький армейский офицер, живущий на пару жалких сотен марок в месяц. Что я могу предложить вам взамен того, что вы потеряете, став моей женой? Да и господин советник не позволит вам этого. Он не допустит такой ничтожной партии для своей дочери. Сын его управляющего,

почти слуги, и вы, Фрейлейн Вера!

– О, молчите, молчите, Рудольф! Вы рвете мне сердце... Я не могу слышать это. Папа – не зверь. Он всех нас горячо любить, и наше счастье для него дороже всего.

– Mein süßes Kind!..³ Моя бесценная фрейлейн! Вера! Вы – ангел мой, отрада и счастье всей моей жизни, и, когда вы так говорите, все мои страхи и колебания испаряются, исчезают, и я, видя вашу любовь, готовь идти за все. Да, ждать дольше трудно. Я выберу удачный момент и буду просить вашей руки, моя бесценная, моя золотая красавица. В то же время я буду добиваться карьеры. Я кончил курс академии и теперь уже служу в штабе, а там открытый путь дальше. Вы же, моя добрая волшебница, надеюсь, поддержите меня, вы...

– Я люблю вас, Рудольф, люблю безумно, – шепчет в экстазе девушка.

Свеча давно погашена предупредительной рукой Веры. Теперь она полулежит на подоконнике, и голова её с полураспущенной косой покоится на плече Рудольфа. Его высокий рост дает ему возможность, стоя в саду по ту сторону окна, держать ее так в своих объятиях. Он не видит её лица в темноте ночи, но ощущает горячий огонь её щек; они пышут жаром, и её сердце под его рукой сильно-сильно бьется. Он осторожно прижимает к своей груди тонкий, худощавый стан девушки и, склонившись близко-близко к её лицу, ско-

³ Мое милое дитя.(нем.)

рее угадываемому, нежели видимому в совершенном мраке, спрашивает заискивающим голосом:

– Фрейлейн Вера, бесконечно любимая и дорогая фрейлейн Вера, хорошо ли вам? Счастливы ли вы так со мной?

Вся кровь бросается девушке в лицо от этого шепота, от знакомого запаха сигары, которым пропитано дыхание любимого человека. Вера вся вздрагивает. Внезапно бессвязная, почти досадная мысль огненным вихрем и болью пронизывает её мозг:

«Зачем он так робок, так приниженно почтителен со мною, он, мой король, руки которого я готова целовать! Ах, если бы я была не Верой Бонч-Старнаковской, а какой-нибудь маленькой Амальхен или Кларой, которую он не побоится бы ласкать и целовать!»

Тело Веры бессознательно тянется к ласке Рудольфа; её губы горят, томясь по его поцелуям, и, не владея собой, вся зажженная его раздражающей близостью, она шепчет:

– Целуй меня, Рудольф!.. Целуй же меня!

Но он не смеет и теперь коснуться её лица губами. Он только нежно и почтительно подносит к ним её руку, и горячие, пламенные, но все-таки почтительно-робкие поцелуи покрывают тонкие, дрожащие пальцы Веры.

Глава IV

С высоко поднятой головой, с горделивым сознанием одержанной победы возвращается черными, непроницаемыми под бархатной мглой ночи аллеями Рудольф фон Штейнберг. Ему есть отчего радоваться и торжествовать: то, к чему он стремился, то, о чем он только мечтал в своих робких, сокровенных грезах, – наконец случилось, и случилось гораздо скорее, чем он этого ожидал.

Кому он обязан всем происшедшим? Бурному ли темпераменту фрейлейн Веры, унаследованному ею от бабушки (он кое-что слышал о покойной старухе), или своим личным достоинствам, достоинствам неотразимого Рудольфа Августа Штейнберга?

Сейчас он улыбается в непроницаемой темноте довольной улыбкой и осторожно поглаживает рукою кончики коротко подстриженных, выхоленных усов. Он, всегда одержанный и спокойный, сейчас готов прыгать и скакать, как мальчишка. Первое дело прошло отлично; теперь бы провести второе, а там...

«О Рудольф Штейнберг! Если вы будете продолжать к том же роде, – то далеко пойдете вперед!»

Только месяц тому назад он приехал снова сюда, в это тихое, уютное Отрадное, и сколько перемен, сколько счастливых изменений и прекрасных случайностей принес ему этот

месяц! Сначала он даже не замечал пробужденного им в душе всегда молчаливой и спокойной Веры чувства к нему, такого вулканического и бурного. Глубина и вулканизм, эти два редко совмещаемые понятия в любви, сейчас сочетались превосходно. Страсть к нему Веры он стал замечать только с первых репетиций их любительского спектакля, когда её черные без малейшего блеска глаза останавливались на его лице с каким-то странным и острым упорством. Она по пьесе должна была играть влюбленную в него девушку, и он думал сначала, что Вера умышленно настроила себя в этом направлении, слишком вошла в свою роль. Но мало-помалу он проник в истинный смысл её отношений к нему и при всей своей сдержанности и характерном тевтонском хладнокровии чуть не сошел с ума от восторга.

Правда, судьба сыграла с ним злую шутку: вместо красавицы Китти, о которой он сладостно и пламенно мечтал еще с отроческих лет, или свеженького бутона Муси. он заполучит эту сухую, некрасивую, черную, как цыганка, и неженственную Веру.

Но ведь выбирать не приходится, когда само счастье лезет в руки. Все же он будет зятем старого дипломата, так или иначе проникнет в жизнь чиновного, министерского человека, и при этой близости будет много легче и удобнее привести в исполнение задуманный им план. А тогда его карьера обеспечена.

Он уже видит отсюда, как ярко впереди загорается его

счастливая звезда. Он – пруссак до кончика ногтей и все слава для него – «племя париев, стадо свиней, проклятых собак», ставших поперек горла его славному народу. Но родина родиной, а услугу он станет оказывать ей не только из-за своих патриотических чувств. Конечно, не мешало бы в двадцать шесть лет полупить подполковничьи эполеты. А если ему удастся довести до конца то, что он приводит медленно к осуществлению весь этот месяц, отправляясь прямо с любовных свиданий, не отдохнув ни капли, на свои экскурсии – о! тогда обеспечены и подполковничьи эполеты, и прекрасное положение при штабе.

И тогда посмотрим еще, чем молодой полковник фон Штейнберг уступить какому-нибудь мальчишке молокососу Анатолию Бонч-Старнаковскому и всем ему присным. И тогда, прекрасная Китти, вам уже не придется выказывать такое презрение сыну вашего управляющего, которым вы заклеили его шесть лет тому назад.

Мысль, принесшая в его мозг это воспоминание, заставляет Рудольфа снова задрожать всем телом. Опять, как утопленник на поверхность пруда, всплыло это воспоминание, этот давно прошедший и по-видимому канувший в лету забвения случай. С поразительной ясностью, до мельчайших деталей вспоминает сейчас Рудольф все, все из того, что произошло тогда.

Жаркое польское утро. Знойное солнце и лениво дремлющий пруд среди чащи тенистого помещичьего сада. Ни

души в саду. В эту чашу никто не заглядывает по утрам. Только он, Рудольф, готовившийся тогда к последним испытаниям своей военной коллегии, пред своим производством в офицеры, с учебником фортификации в руках забрался в самую непролазную гущу сада. Плеск воды внезапно привлек его внимание. Он раздвинул ближайшие ветки, вытянул шею и, выглянув из своей зеленой засады, едва не вскрикнул от восторга и неожиданности, смешанной с каким-то благоговейным ужасом. Совершенно нагая, придерживая одной рукой простыню, волочившуюся за нею, прекрасная и нежная, как мраморная античная статуя, осторожно входила в пруд красавица Китти, старшая из барышень Бонч-Старнаковских. Юное, гибкое девичье тело, маленькие, упругие груди, ослепительная кожа и очаровательное, с темными быстрыми, сверкающими, как черные алмазы, глазами личико, обрамленное золотисто-белокурыми волосами, – все это, вместе взятое, свело Рудольфа с ума. Кровь ударила ему в голову, в глазах поплыли кровавые круги, однако и сквозь них он продолжал видеть и молочно-белую кожу блондинки, изящные, словно из слоновой кости выточенные, ручки и ножки прелестной девушки. Красота, великолепие этого чудного, без единого дефекта, обнаженного тела, о котором он и прежде робко мечтал, кусая угол подушки в бесконечные бессонные ночи, теперь угарным шумом наполнили ему голову; кипучей, огненной лавой забродило непреодолимое желание у него по жилам, и, не помня себя,

обезумев от страсти, юноша выпрыгнул из кустов и рванулся к Китти. Прежде чем она успела крикнуть и оттолкнуть его, он обвил трясущимися руками это дивное тело и прильнул к нему губами.

Только звонкая пощечина привела тогда его в чувство; он опомнился лишь под ударом маленькой ручки.

Теперь Китти стояла пред ним негодующая, возмущенная, как богиня гнева, и еще более чем когда-либо соблазнительная и прекрасная в этот миг. Дрожа всем телом, кутаясь в свою длинную простыню, она бросила ему сдавленным от волнения голосом:

– Негодяй! Ничтожный мальчишка! И ты осмелился! Ты осмелился, ничтожная тварь! Или забыл, кто – ты и кто – я?

Затем произошло нечто кошмарное. Он, Рудольф, ползал в ногах и молча вымаливал прощение. Он униженно молил Китти не жаловаться «его превосходительству господину советнику», не сообщать о его безумном поступке и его отцу, а предать этот поступок забвению. Он оправдывал его своей молодостью, необузданным темпераментом, пылом и наконец, тем, что она, фрейлейн Китти, так прекрасна, так непостижимо, божественно прекрасна, что он не мог устоять при виде её красоты.

Но Китти, сгорая от стыда и страха, плохо слушала то, что он лепетал. Она по-прежнему с горящими негодованием глазами мерила его уничтожающим взглядом и только время от времени повторяла взволнованным, звенящим, как натяну-

тая струна, голосом:

– Я – Бонч-Старнаковская, а ты, ты кто? Сын слуги моего отца! На что же ты рассчитывал однако, на что, несчастный?

О, он не решался тогда сказать ей, что ровно ни на что не рассчитывал, что просто влюблен в нее без памяти, что её несравненная красота, как шампанское, ударило ему в голову! И, когда она прогнала его, он ушел, опозоренный, униженный и прибитый, но с сердцем, закаменевшим в сознании своего права любви и восхищения пред её красотой, с распаленной от обиды душою и жаждою мести.

Китти почему-то так и не пожаловалась ни своему отцу, ни Августу Карловичу на его необузданного сына, и ни один из них двоих так и не узнал об этой сцене, разыгравшейся на берегу пруда. Только долго потом она презрительно отворачивалась от Рудольфа при встречах и продолжала демонстративно говорить ему «ты», хотя до этого злосчастного утра называла его на «вы» и Рудей.

Не забыл и Рудольф оскорбления, полученного им от разгневанной девушки. Мстительное чувство и обида вытеснили у него из сердца прежнее увлечение Китти, и оно перешло в не менее острую ненависть к ней. Но этот инцидент, происшедший между ними, привел к тому, что он поставил себе заветом так или иначе добиться положения, карьеры, богатства, чтобы стать па одну ступень с этими надменными барамы, с этой зазнавшейся девчонкой, а там...

О том, что могло быть дальше, Рудольф не думал. Он знал

лишь ближайшие цели своей борьбы. И, когда неожиданно и бурно в его жизнь ворвалась любовь к нему Веры, той самой Веры, с которой он еще в детстве бегал, играя в лошадки, Рудольф Штейнберг обрадовался без конца. Его задача теперь значительно упрощалась: будучи мужем дочери крупной чиновной единицы, к тому же богатой, он достигнет скорее и легче тех высот, к которым тянется вся его тщеславная душа.

Глава V

- У тебя все готово, Фриц?
- Так точно, господин лейтенант.
- Краги? Хлыст? Отлично! Ты оседлал Зарницу, надеюсь?
- Так точно, Зарницу, господин лейтенант.
- А отец еще не проснулся?
- Нет еще. Господин управляющий поднимается с солнцем, а сейчас еще далеко до него.

Солнца действительно еще нет на далеком небе, и в природе царить тот бледный сумрак утра пред восходом, когда земля, еще насыщенная сном, истомно нежится в предчувствии знойной ласки солнца. Однако уже ощущаются шорох и трепыхание в кустах птишек, почуявших утро, а на горизонте намечается заря, алой лентой опоясывающая часть неба.

Зарница, любимейшая кобыла Рудольфа из всех лошадей конюшни Бонч-Старнаковских, роет от нетерпения копытами землю и тихо, радостно ржет. Каждое утро денщик Фриц, приехавший в отпуск из Пруссии со своим барином, седлает Зарницу еще задолго до восхода солнца для «господина лейтенанта», и всадник, лошадь после нескольких часов отсутствия благополучно возвращаются только к завтраку домой. И так каждый день, когда только нет дождя и ненастья.

Сам Рудольф не сомкнул глаз в эту ночь, однако не чув-

ствует ни тяжести, ни усталости. Только огромные синяки под глазами свидетельствуют о бессонной ночи. Он успел уже, вернувшись от Веры, окунуться с головой в ванне, выпил чашку горячего чая, приготовленного ему Фрицем, и теперь чувствует себя свежим и бодрым, как никогда.

«Алло, Рудольф! В путь смелее!» – выкрикивает в нем избыток сил и энергии, и он пускает с места в карьер быстроногую Зарницу.

Рудольф выехал из усадьбы, миновал парк, окружающий Отрадное, и углубился в поля. Море хлебов окружает теперь коня и всадника; вкусно и пряно пахнет свежая еще от ночных рос и предутренних седых туманов земля. А влево темнеет лесок, и за ним вьется широкой лентой проезжая шоссе-сёйная дорога. Она ведет к крепости.

Рудольф дает шпоры Зарнице и вихрем мчится по направлению дороги, убегающей вдаль. К седлу за спиной у него прикреплен небольшой ящик – крошечный аппарат, неизбежная принадлежность каждого фотографа-любителя. Разве не естественно, что он любить природу, её ни с чем несравнимые красоты, которые он считает положительно грехом не занести на пластинку? А тут, вокруг Отрадного, эта природа так богата видами! Эти поля, сверкающие золотом колосьев, эта змеящаяся между ними дорога и, словно игрушечная издали, но мощная и хорошо защищенная естественными преградами, крепость.

Рудольф едет сейчас межою, параллельно дороге, време-

нами приостанавливается, щелкает аппаратом, а потом что-то отмечает на страницах записной книжки. Вот он въехал в небольшой лесок. Здесь, притаившись близ лесного болотца, незаметная для взоров прохожих, чуть светлеет маленькая избенка, «охотничий дом», как они с Фрицем называют между собою это здание. Еще только четыре недели тому назад здесь было гладкое место, были заросли жимолости, папоротника и крапивы, а теперь, словно гриб, вырос этот сруб. Это Рудольф и Фриц собственноручно сработали его.

Рудольф соскакивает на землю, привязывает Зарницу на длинном поводу к дереву и, открыв американским ключом дверь, входит в избенку. Внутренность её убога: столяр, два табурета, походная постель в углу, наброшенная на простые, грубо сколоченные козла. Закрыв дверь за собою, Штейнберг быстро сдвигает эти козла с места. Под ними две половицы, плотно пригнанный одна к другой. Рудольф вытаскивает из бокового кармана небольшой нож-стилет и, воткнув его в одну из досок, приподнимает ее. Под доскою оказывается глубокая яма, конусом уходящая вниз. Оттуда несет сыростью и землей. Штейнберг засучивает рукава своего модного, изысканного пиджака и, стоя на коленях пред ямой, запускает в нее руку. Тихий, легкий шорох бумаги – и на свет Божий извлекаются один за другим несколько свернутых в трубку листов, ящик с готовальней, линейка и масштаб. В маленькое окошко, прорезанное под самой крышей, слабо проникает бледный свет довосходного утра, но его слишком

достаточно для того, чтобы Рудольф мог, разложив на некрашеном полу бумаги и планы, занести на них то, что он успел при помощи фотографических снимков, проявленных еще накануне, почерпнуть среди окружающей его местности. Вот холм, находящийся в двух верстах от болотца, ближайшего к цитадели, вот крошечная польская деревушка по эту сторону леса, а вот дальний помещичий фольварк. Все они, в виде раз установленных им знаков, находят свое место на плане.

Солнце с его брызжущим ало-золотым заревом застаёт Рудольфа еще за работой. Теперь внутри крошечной избушки все словно смеется и ликует в лучах пробудившегося светила. Досадливо щурясь, Штейнберг сворачивает бумаги и, положив их снова в отверстие под половицей, сдвигает доски и приводит в прежнее положение постель. Потом он завешивает оконце непроницаемым черным покрывалом и начинает проявлять сегодняшние снимки, то и дело прислушиваясь к мерным шагам Зарницы, мирно пощипывающей траву. Быстро, легко и ловко исполнена и эта работа. Теперь только Рудольф чувствует, что он немного устал. Но это не важно – у него целый день впереди в запасе, до ужина он может спать, как убитый. Главное, он счастлив и доволен тем, что ему удалось использовать и это утро, как и все предыдущие дни.

За ужином старый Штейнберг говорить, как всегда, по-немецки сыну:

– Послушай, Рудольф, тебя видели рабочие под окном старшей барышни нынче ночью. Что ты делал там?

Серые глаза не мигая останавливают спокойный и обычно пристальный взгляд на старом лице отца, на этом добродушно-серьезном лице истого немца, с синеватыми жилками на крупном, широком носу, с красными, налитыми здоровой кровью щеками, с сивыми усами над твердым ртом.

Рудольф – любимец и гордость отца. В то время Как старшие сыновья Августа Карловича: один – аптекарь в Шарлоттенбурге, предместье Берлина, другой – инженер-технолог в Дрездене – ничем особенным не зарекомендовали себя, – красавец и умница Рудольф сумел уже много сделать для своей карьеры. В двадцать шесть лет он уже на виду у начальства, как молодой офицер генерального штаба. Ему дано уже какое-то ответственное тайное поручение, о котором он не заикается даже старому отцу. И при этом его внешность, его лоск и утонченные манеры. Будто он – не сын простого бюргера, пришедшего заработать себе честным образом хлеб под это чужое небо, а переодетый барон, – так умеет держать себя этот мальчик.

Даже то обстоятельство, что Рудольфа видели ночью ра-

бочие под окном фрейлейн Веры, не сулит ничего страшного Августу Карловичу. Он слишком уверен в благоразумии сына, слишком убежден в его такте и ловкости. И сейчас он смотрит на него с явными признаками одобрения и сочувствия.

Каков красавчик! И кто бы мог сказать, что у него будет такой блестящий сын! Жаль, что рано сошла в могилу его мать-старуха! Вот поумилялась бы душой на своего маленького Рудольфа, на своего последыша Вениамина, в котором она не чаяла души.

А он, этот самый Рудольф, этот любимец и гордость семьи, смотрит в самые зрачки отцу пристально и почти строго и говорить голосом, не допускающим возражение:

– Приготовься услышать нечто важное, старина, настолько важное, что должно бесспорно изменить весь текущий строй нашей жизни. Фрейлейн Вера, дочь твоего патрона, Вера Бонч-Старнаковская, любит меня и желает, чтобы я в самом недалеком будущем стал её мужем.

Казалось, разверзшиеся небеса и расступившаяся земля, открывшая недра земного шара, не могли бы поразить большею неожиданностью старого Штейнберга, нежели поразило его это признание сына. Он поперхнулся куском ростбифа и выронил из руки вилку при первых же словах Рудольфа. Багровый от волнения, радости, смущения и неожиданности, он привстал со своего места и потянулся через стол к сидящему напротив него молодому человеку

– А господин советник? Что скажет на все это господин советник, Рудольф, мой мальчик? – скорее угадал, нежели расслышал, мгновенно охрипший и прерывистый от волнения голос отца молодой Штейнберг.

– Успокойся, старик! Ты меня не понял. Конечно я жёнуюсь не на господине советнике, а на его второй дочери, фрейлейн Вере, которая положительно обезумела от любви ко мне. Ей уже двадцать два года, у неё свое собственное, самостоятельное приданое, завещанное ей бабушкой, и она может, кого желает, признать избранником своего сердца.

– Но... но...

– Не бойся, отец! Господину советнику останется только согласиться. У фрейлейн Веры темперамент её бабушки, сбежавшей из дома с польским гусаром. Бонч-Старнаковские – бары, настоящие русские бары, которые свою репутацию ставят и ценят выше всего. Если теперь ты слышал от рабочих о моих ночных свиданиях с фрейлейн Верой, то конечно о них постараются довести и до сведения господина советника. А ты знаешь, отец, что иногда брак является избавлением от величайшего несчастья, в роде запятнанной репутации молодой девушки. Гм... Что ты скажешь на это, отец?

Что же мог еще сказать на все это старый, ничтожный Штейнберг своему умному, находчивому и гениальному сыну? Нет, никакие слова положительно не шли сейчас на уста почтенного Августа Карловича, и все, что он мог сделать, –

это отбросить в сторону салфетку, предварительно насухо вытерши ею пропитанные пивной пеной усы и, широко раскрыв свои родительские объятия, заключить в них своего гениального сына.

Глава VI

– Я это или не я? Боже мой, до чего меняет грим лицо, Варя! Только вот глаза не выходят. Варюша, у тебя хорошо вышли глаза? Счастливица! Ты адски хорошенькая нынче. А я не могу справиться. Позови «любимца публики» ради Бога! Виталий Петрович! Виталий Петрович! Поди сюда, голубчик, сделайте мне глаза! – кричит Муся, просовывая в дверь уборной свою маленькую, всегда поэтично растрепанную головку.

– Сейчас! Лечу... Бегу, – и Думцев-Сокольский уже совсем готовый к своему выходу и дававший последние инструкции театральным плотникам, выписанным вместе с декорациями и оркестром музыки из соседнего города, где подвизалась в зимнее время профессиональная труппа, спешит в биллиардную, примыкающую к залу и превращенную на этот вечер в дамскую уборную.

– Можно? – стучит он пальцем в дверь огромной комнаты.

– Входите, голубчик, входите!

Голосок Муси звенит от нервного волнения. Она даже не замечает среди этого волнения, что, помимо желания, дарит его, Думцева-Сокольского, лестным для него эпитетом «голубчик», тогда как в другое время он для неё – только «адски противный» и «самохвал».

– Голубчик, глаза сделайте мне!.. Умоляю, – тянет она,

глядя в зеркало, и вдруг вскрикивает пораженная: – какой красавец!. Адски шикарный! Чудо! Да неужели это – вы?

На поверхности стекла отражается совсем новое, почти прекрасное лицо мужчины. Кто мог бы думать, что этот сидящий барин-аристократ с манерами современного русского патриция, с правильным, гордым профилем и чуть затуманенными поволокой от грима глазами, что этот обаятельный образ принадлежит Думцеву-Сокольскому «любимцу публики», умеющему только ухаживать за женщинами, врать пошлости и нести ахинею о своих небывалых театральных грехах? Теперь он совсем не он. Такой *distingué*⁴, такая прелесть.

Муся с нескрываемым восторгом смотрит ему в лицо и вдруг вскрикивает самым неожиданным образом:

– А нос?

– Что нос?

– Да нос же ваш, где ваш нос?

Думцев-Сокольский теряется, как мальчик. Что с этой безумной девчонкой? Какой еще нос понадобился ей? Он осторожно холеной, пухлой рукою дотрагивается до собственного носа.

Но Муся уже заливчато смеется и неистово бьет в ладоши.

– Голубчик, что вы сделали со своим носом? Не сердитесь только, ради Бога! ведь он у вас был картофелькой, а теперь стал адски классическим, римским. Что вы сделали со своим

⁴ Изящный. (фр.)

носом, прелесть моя?

– Муся! Sois done plus intelligente, chérie! ⁵ – слышится из-за ширм, за которыми гримируется Вера. – Бог знает, что ты говоришь!

– Ничего, Верочка, не бойся! Я его за обиду поцелую, если удачно сойдет у меня роль и если он сделает мне глаза Миньоны, – весело смеется бойкая девочка.

– Боже мой! Ты неисправима, Муся! – несется с отчаянием из-за ширм.

Думцев-Сокольский, сконфуженный и в первую минуту уколотый напоминанием о своем носе, действительно напоминающем собою нечто среднее между картофелиной и утиным клювом, сейчас вполне вознагражден. Он плавает как рыба в воде, в своей любимой стихии. Специфическая театральная атмосфера, такая неожиданная в этом старом барском гнезде и вследствие своего диссонанса с окружающей ее строгой обстановкой еще втрое обостренная для его приглушенной впечатлительности, совсем опьянила «любимца публики» в этот вечер. Запах дорогих духов, пудры, паленого на щипцах женского волоса, свежие девичьи лица, наивно испуганные, ярко горящие глазки, неестественно увеличенные от грима, – все это сладким дурманом кружить ему голову.

Стараясь быть мягким, вкрадчивым и скромным он набрасывает последние штрихи туши и румян на лица девочек,

⁵ Да будь же умнее, милая! (*фр.*)

и под этими последними штрихами обе они – не только милостивая Муся, но и серенькая, незаметная Варя Карташова – становятся прехорошенькими. Девочки невольно любят себя, не замечая даже, что локти Думцева-Сокольского как-то уж слишком интимно прикасаются к их плечам, а его ласковые глаза словно нежат их лица.

– Мсье Сокольский, не откажите взглянуть и на меня! – слышится снова из-за ширм голос Веры.

Быстро покончив с гримом юных исполнительниц, Сокольский несется на зов старшей барышни.

«Боже, кто это? Откуда же она? Откуда?»

Он останавливается посреди биллиардной, полный восхищения и как будто даже какого-то испуга. Пред ним высокая, худая женская фигура в черном, почти монашеском платье; черный же платочек, низко повязанный надо лбом, дополняет это сходство с инокиней. Но как прекрасно её лицо в рамке этого подчеркнутого сурового костюма! Бархатные, обычно без искр и блеска, глаза горят теперь ясным пламенем. Она почти не положила румян на свои смуглые щеки цыганки, но естественный румянец волнения пробивается сквозь смуглоту её кожи, и эта нежная кожа теперь пылает. Да, она – красавица, положительно красавица сейчас, эта обычно старообразная и некрасивая Вера.

– Тамара! Дочь князя Гудала! Тамара, возлюбленная демона, вот вы кто! – с искренним восхищением, без малейшего пафоса на этот раз, шепчет Думцев-Сокольский и впи-

вается в девушку восхищенным взглядом.

– В самом деле? Вы находите? Значить, я не даром старалась гримироваться! – говорить она, и бегло улыбается чуть тронутыми кровавым кармином губами.

А сердце в это время поет:

«Да, да, это хорошо, что ты так прекрасна нынче... Он увидит тебя такую и полюбит еще сильнее, он, твой избранник, твой демон!»

* * *

Не обходится и без инцидента, одного из тех, что часто повторяются на любительских спектаклях. Экономка Маргарита Федоровна, почтенная особа с крайне энергичным характером и с заметными усиками над верхней губой, громко возмущается из своего угла за ширмами, когда ей подадут мужской костюм для третьего акта.

– Это что за гадость! – кричит она, выговаривая «г», как «х», как настоящая хохлушка (она – малороссиянка по месту рождения и только волею слепого случая попала в Западный край). – Да что вы меня, милейшие, убить хотите, что ли? Да за кого вы меня считаете, чтобы я этакую нечисть, штаны, с позволения сказать, мужские на себя напялила? Да никогда в жизни! Да лучше я от роли вовсе откажусь! – все больше и больше хорохорилась она, нисколько не смущаясь тем, что ее может услышать собравшаяся уже в зале публика.

Вера, Муся, Варя, Зина Ланская, очаровательно пикантная, как француженка, в своем шикарном дорожном костюме (таковой требуется по ходу пьесы) окружают разбушевавшуюся Маргариту, уговаривают, просят, молят. «Любимец публики» решается даже опуститься пред нею на одно колено и, прикладывая руку к сердцу, с утрированным отчаянием произносить целую тираду, посвященную ей. Из мужской уборной ураганом вылетает Толя, очень забавный в костюме и гриме офранцуженного русского лакея, и снова все хором упрасивают и услащают оскорбленную в своих лучших чувствах Маргариту. Наконец, старая дева милостиво соглашается на все мольбы и обещает снизойти до «такого», по её мнению, «позора» и облечься в мужской костюм.

Звонок за кулисами внезапно прерывает эту оживленную сцену.

– Господи! До чего я боюсь, Варюша! Зуб на зуб не попадает, ей Богу. Адски страшно, душка моя. Ведь с первого же акта у меня такая трудная сцена! – и, тронув еще раз свое преобразившееся до неузнаваемости под гримом личико пуховкой, Муся птичкой, выпархивает за дверь уборной.

Едва касаясь маленькими ножками ступеней, ведущих на помост сцены, она вбегает наверх и замирает у заветного выхода на сцену. Здесь она быстро крестится мелкими частыми крестиками и робко, беспомощно оглядывается по сторонам. Как бьется её маленькое сердечко! Как замирает душа!

Из-за тяжелого, привезенного тоже из энского городско-

го клуба, занавеса слышится смутный гул собравшейся толпы гостей. Отдельные восклицания, смех, стук отодвигаемых стульев и кресел, знакомые и незнакомые голоса.

– Мне страшно, Варюша, безумно страшно! – шепчет снова с округлившимися глазами девочка, хватая за руку подругу.

Но и у той, у её «совести», как называет в шутку младшая Бонч-Старнаковская Карташову, сердце не на месте: она начинает пьесу, а первая сцена у неё не идет.

– Играю, как сапог, по выражению твоего брата, – с тоской шепчет Варюша.

– Ну и пускай! – своеобразным способом утешает ее Муся. – Зато ты – сама прелесть и адски хорошенькая нынче под гримом.

Откуда-то из-за кулис, словно из-под земли, вынырнули две скромные фигуры «Попугайчиков» – Ванечки Вознесенского и Кружки. Оба с явным восхищением влюбленными глазами смотрят в лицо Муси. Она смеется и роняет кружевной платочек. «Попугайчики» наклоняются оба сразу и в попытке поднять его сталкиваются головами.

– Это ничего... Это ничего, – лепечёт Кружка и трет покрасневший лоб.

Грим «Попугайчиков» с неумело приклеенными усами, бородами и грубо подведенными глазами нелеп до смешного. По всему видно, что они, как и Муся, на сцене – новички.

Но Мусе хочется нынче быть доброй, чтобы все были до-

вольны ею, чтобы она, как добрая фея, сеяла вокруг себя одну только радость и свет. Она улыбается смущенным юношам и ласково бросает:

– Желаю успеха.

– Сказка! – восторженно шепчет ей вслед Ванечка.

– Завтра же накатаю ей посвящение... Такое!.. – вторит ему не менее восторженно Кружка, за которым прочно установилась репутация поэта.

Новый звонок режиссера сбрасывает их с неба на Землю, возвращая к миру действительности.

Появляется Думцев-Сокольский, уверенный, смелый, обаятельный в своем новом виде. Заметив Мусю, робко прижавшуюся к кулисе, он подходит к ней и вкрадчиво шепчет:

– Я не забыл обещания и приложу все усилия, чтобы получить, заслужить его.

Но она только смотрит ему в лицо испуганными, с широко разлившимися зрачками, глазами... Ах, ей так страшно сейчас! Она ничего не слышит, ничего не понимает.

Мимо проходит Зина, обаятельная, уверенная в себе, прелестная. За нею несется неуловимая струя духов, известных ей одной, дурманная смесь каких-то эссенций.

– Маленький Толя! – кричит она спокойным, «домашним» голосом, за которым не чувствуется ни малейшего волнения, – куда вы девали мой зонтик? Давайте его сюда скорее!

Еще звонок – последний, третий, и с легким шорохом пол-

зет вверх тяжелый занавес.

Глава VII

Давно уже старый дом в Отрадном не видал такого громадного стечения публики. На любезное приглашение радужных хозяев съехалось почти все окрестное русское и польское общество, мелкие и крупные помещики, считавшие за особую честь побывать в гостинной Бонч-Старнаковских. Офицеры энского гарнизона и артиллеристы из недалекой, в нескольких верстах отсюда, находившейся крепости, семейные и холостые, съехались на спектакль. Вице-губернатор (сам начальник края был в отпуске за границей) с супругой, предводитель с предводительшей заняли места в первом ряду кресел. Позади толпилась более скромная публика: мелкие служащие казенных учреждений ближайшего города с женами и детьми, штатская молодежь, слетевшаяся сюда с намерением от души потанцевать и повеселиться.

Еще до начала спектакля Вера разглядела в круглое отверстие в занавесе яркую, пеструю толпу – блестящий цветник провинциальных дам и барышень, мундиры армейских офицеров, свежие, молодые лица, искрящиеся как шампанское, взоры и оживленный улыбки. Отец её – высокий, статный не по летам старик с тонким, породистым лицом барина и изысканно-величавыми манерами – резко выделялся из всей этой разношерстной толпы. Владимир Павлович, радушный и хлебосольный по натуре, пригласив, по настоянию детей,

все окрестное провинциальное общество, всячески старался не давать скучать своим гостям. Он был со всеми одинаково предупредителен и любезен.

Вера во время хода действия, даже произнося необходимые по пьесе фразы и подавая реплики партнерам, спокойно разглядывала первые ряды кресел. Она была вполне равнодушна ко всему, что происходило на сцене и за рампой, равнодушна и к результатам собственной игры, собственно-го исполнения. Её спокойный голос холодно и ровно чеканил по заученному хорошо улегшиеся в памяти слова, а её стильное, прекрасное под гримом лицо не выражало ни тени волнения.

Но вот появился Рудольф в роли молодого купца Лопахина, и Вера широко раскрыла изумленные глаза. Она не успела повидать его до начала действия, и теперь, под гримом в этом своеобразном наряде – в шелковой косоворотке, в высоких сапогах, красивый, плечистый; сильный, с чужим, незнакомым ей лицом, с завитыми в кудри волосами, с курчавую же бородкой, – он показался ей настоящим красавцем.

– Богатырь! Илья Муромец! Канальски – *ouvrez-moi le mot!* ⁶ – хорош собой! Ой, не смотрите, медам, не советую: только свои сердечки погубите, *Il est impitoyable* ⁷, – Дурачась успел шепнуть Толя исполнительницам.

Вера серьезно и строго взглянула на брата и, пропуская

⁶ Простите на слове. (*фр.*)

⁷ Он неумолим. (*фр.*)

свою реплику, снова подняла взор на молодого Штейнберга.

Да, он безгранично нравится ей. Она любит его, любит на смерть и сегодня же постарается улучшить минуту переговоров с ним, условиться насчет завтрашнего дня. Завтра, конечно завтра он должен идти к отцу и просить её руки; через два дня отец должен уехать, так необходимо до его отъезда выяснить все. Она не хочет больше ждать и томиться, она не может больше страдать.

И, произнося без чувства и смысла длинные и, как ей казалось, совсем ненужные фразы, девушка то и дело поворачивалась в сторону Рудольфа, который очень добросовестно, с чисто немецким усердием подавал свои реплики.

Вообще этот спектакль шел слабо, как большинство любительских спектаклей. Но Анатолий, совместно с «любимцем публики» выбравший эту пьесу, знал, что делал.

Роль Раевской, главная женская роль, словно написана специально для Зины Ланской. Для неё собственно и поставлена вся пьеса, тем более что в этой роли очаровательная вдовушка намеревалась дебютировать на серьезной сцене когда-нибудь позже, потом. И помещик Гаев в исполнении Думцева-Сокольского бесподобен. Каждая его фраза сопровождается гомерическим смехом или глубоким сочувствием публики. Он ни в чем не уступает своей блестящей партнерше Ланской. Вдовушка прелестна; её смех, естественный и гибкий, заражает публику, а пикантная, полная блеска, внешность опьяняет молодой мужской элемент зрительного

зала. Прелестна и наивна Муся в роли подростка Ани. Белое воздушное платьице, распущенные по плечам локоны, вся её свежая внешность невольно возбуждают симпатии к этому милому ребенку-девушке. И когда Ванечка Вознесенский, по ходу пьесы студент Трофимов, восторженно посылает ей вслед в конце акта: «Солнышко! Радость моя!» – присутствующее в зрительном зале охотно верят в то, что она может быть и солнышком, и радостью, и не для одного только нескладного и неловкого чеховского студента, но и для многих-многих людей.

– Провалила! Провалила! С треском провалила! Всю роль смяла! – чуть не плача, бросаясь с ногами на кушетку в уголку за ширмами, поставленную в «уборной». лепечет Муся, ломая холодными, дрожащими руками тонкие пальчики «своей совести», Вари Карташовой.

– Неправда! Неправда! Отлично сыграла! Не выдумывай, пожалуйста! – успокаивает ее Варюша.

– Адски осрамилась! Я ведь знаю... Вот Зина – та шикарно провела свою роль, а ты и мы с Верочкой – безумно скверно... Бе-зум-но!

– Послушай, Мусик, ты, кажется, и в самом деле расхныкаться намерена? – и темная фигура Веры неожиданно вырастает перед кушеткой. – Или ты тоже на настоящую сцену собираешься поступить, как Зина? Но, девочка, если даже допустить, что ты сыграла так скверно, как ты говоришь, то ведь мы же – не профессиональные актрисы, а люби...

Она не договаривает. В уборную стучать.

– На сцену, медам! Прошу на сцену. Мадемуазель Муся, вы были очаровательны, вы были само совершенство...

– Кто это? «Любимец публики»? Ах! Неужели правда? А вы не заливаете, голубчик?

– Муся! – в один голос ужасаются Вера с Варюшей на специфическое словечко этого «enfant terrible» семьи Бойчей.

– Нет, серьезно, недурно.

– Не провалила? Нет?

– Очаровательно!

Девочка так вся и вспыхивает, польщенная.

– Оча-ро-ва-тельно! – рисуется актер за дверью. – Вы слышите аплодисменты? Это же вам. Вы ведь кончили сцену. Идите же раскланиваться. И вы, Вера Владимировна, тоже.

– Ах! – Муся в изнеможении счастья всплескивает ручками и птичкой летит на сцену.

Ванечка и Петр Петрович Кружка первые приветствуют ее аплодисментами у кулис. Не чувствуя ног под собою, Муся под градом этих и других аплодисментов, несущихся из зала, останавливается посредине сцены и низко приседает как «всамделишная» актриса. Молодые крепостные офицеры особенно усердно хлопают, не жалея рук.

С тихим шелестом опускается занавес. В зале военный оркестр начинает какой-то меланхолический вальс. Он звучит еще и тогда, когда поднимается занавес для третьего акта.

Бал в усадьбе «Вишневого сада». Музыка, легкий провин-

циальный флирт, смешанное общество. Пришлось привлечь еще кое-каких исполнителей для этого акта из среды окрестных соседей.

«Совсем как у нас нынче», – невольно приходит молчаливое сравнение в голову Веры.

И вдруг в кулисах показывается испуганная голова Думцева-Сокольского.

– Шарлотта Ивановна! Где Шарлотта Ивановна? – спрашивает он. – Сейчас её выход, а её нет.

– Какая Шарлотта Ивановна? Ах, да, Маргарита! – с трудом догадывается Вера, мысли которой теперь полны Рудольфом, только им одним. – Да где же и вправду Маргарита Федоровна, где она?

На сцене воцаряется продолжительная пауза, за сценою же разгорается суматоха. Анатолий задними ногами пробирается в буфетную. Так и есть: предчувствие не обмануло его, Маргарита там. Так, как была в костюме и гриме, в невозможных клетчатых брюках, от которых так упорно отказывалась еще до начала спектакля, в рыжем парике, съехавшем на бок, расвирепевшая Маргарита Федоровна иступленно кричит что двум вытянувшимся пред нею в струнку лакеям. При виде вошедшего Анатолия она вся так и заходится от нового приступа бешенства и, схватив со стола какой-то предмет, сует его чуть не под самый нос молодому человеку.

– Нет, вы полюбуйтесь, молодой хозяин! Нет, вы полюбуй-

тесь только, что эти скоты здесь натворили!.. Это что?

Анатолий опешил. Что это в самом деле?

Какие-то черепки, кусочки фарфора.

– Дрезденская чашка! – вопить неистовым голосом Маргарита.

– Что чашка? – не понимает Толя, морщась, как от боли, под звуками этого зычного, вульгарного голоса.

– Нет, подумать только: генеральшину чашку и вдребезги эти хамы...

– Маргарита, милая... Успокойтесь! На сцену вам надо. Чашки же, право, не воскресишь.

– Да подите вы, Анатолий Владимирович! С ума тут по-сошли, что ли? Да, пока я играть там буду, они мне здесь всю посуду пере...

Но ворчливой экономке не суждено окончить начатую фразу. С самым галантным и в то же время энергичным движением Анатолий просовывает её руку под свою и почти силой увлекает ее за кулисы.

– Что вы наделали? У нас тут по вашей милости пауза до завтрашней ночи, – хватаясь в отчаянии за голову, встречает ее зловещим шипением Думцев-Сокольский.

– Что там пауза, когда дорогую чашку... – ворчит неугомонная Маргарита и как-то боком, смешно и сконфуженно протискивается на сцену.

Публика встречает ее взрывом смеха.

В этом действии Зина Ланская превосходить себя. Она

бесподобна, это – настоящая, законченная актриса. Недаром же она мечтает о драматических курсах, на которые хочет поступить этой осенью. В сцене кокетства она легка и прелестна. Но едва ли не лучше выходят у нее и серьезные моменты. Глубокое, искреннее горе звучит в её голосе, когда она узнает о продаже с торгов своего родового поместья, и плачет настоящими слезами. После этого так реально выраженного горя и слез как-то неохотно прислушивается публика к речам других исполнителей, звучащих со сцены. И даже блестящий монолог Лопахина, со слов и по звуку голоса воспринятый от Думцева-Сокольского, теряется и блекнет после её мастерской игры, как блекнет алая заря пред золотом восхода. Только одна Вера жадно ловит каждое слово, каждый звук голоса молодого Штейнберга, и сердце её дрожит сильнее, это так неожиданно пробудившееся страстное сердце.

Спектакль кончается. В зале двигают стульями. Неистово хлопают исполнителям, что-то кричать...

«Совсем, как в настоящем театре!» – с восторгом думает Муся.

Несколько молодых офицеров пробрались на сцену и, окружив исполнительниц, взапуски приглашаюь их на танцы, расточая похвалы и комплименты их игре.

– Марья Владимировна, контрданс со мною! – слова изпод земли вырастает пред Мусей Думцев-Сокольский.

Опьяненная успехом и влюбленными взглядами окружа-

ющей ее молодежи, Муся смотрит сейчас с вызовом в лицо актера.

– Согласна, но только с условием: оставайтесь гриме, слышите? Так вы много шикарнее, чем бритый... Да! – говорить она и звонко смеется.

А модная, дразнящая и раздражающая мелодия вальса словно нехотя уже несется под сводами старинного белого зала, там, где столетия тому назад гремели и краковяк, и мазурки, а очаровательный паненки носились об руку с рыцарями Польши.

Обвив рукою талию Зины Ланской, Анатолий, увлекая свою даму, быстро сбегает с подмостков и кружится с ней под эти томящие, страстные звуки. За ними следуют и остальные пары.

Ванечка и Кружка оба сразу подлетают к Мусе, но – увы! – она уже уносится в объятьях артиллерийского поручика, и оба юноши с восторгом шепчут ей вслед:

– Сказка! Ты понимаешь, Иван, это – сказка, и подобной не найдешь в целом мире.

– Эх, брат Кружка, – сказка, да не для нас... А впрочем... Пойдем-ка с горя приглашать исправничьих дочек.

Глава VIII

– Какая ночь! Господи, ночь какая! Теплынь и этот воздух... Он весь напоен, пропитан розами... Я обожаю их пряный аромат. А вы, маленький Толя? Вы любите розы?

– Я люблю вас, Зина, и только вас.

– Опять! Но это несносно. И вам не наскучило еще подобное однообразие? Оно вам, право, не к лицу, и потом... Я понимаю преследовать цель, сколько-нибудь достижимую, а ведь я для вас...

– Вы для меня – самое дорогое и самое острое, что я знаю на земле.

– Да ну? Неужели? Острее Жильберты даже и крошки Ирэн? Маленький Толя, да?

– Бросьте этот тон, Зина! Я его не выношу!

– Не говорите дерзости, а то я встану и уйду, скверный вы мальчишка.

– Нет, нет! Ради Бога, только не это! Я буду скромн и тих, как добрый старый сенбернар, уверяю вас, Зина...

– И еще условие: сорвите эту гадкую бородку, она – противная и скрывает ваш подбородок. А мне нравится ваш подбородок, Толя... Нравился еще с детства, когда вы, были маленьким-маленьким. Я люблю его упрямую, стальную линию. Мне кажется, у Нерона должен был быть такой жестокий, упрямый подбородок. А я люблю жестокость... Да...

Что вы на это скажете, маленький Толя?

– Мне нет дела до Нерона, Зина, и еще менее – до его подбородка. Мне нет дела ни до кого, ни до чего, кроме вас и моей любви к вам... Зина, Зина! Взгляните же на меня, милая, раздражающе прекрасная Зина, милая женщина с капризной душой, за которую я...

– Тссс! Не надо неистовств, маленький! Взгляните лучше, какая ночь, и пейте её аромат и тишину... Пейте и пустите мои руки, Толя!.. Анатолий! Я не терплю насилия; я – сторонница полной свободы и люблю... Нет, нет, не вас, а ее... Ее, эту ночь.

И смех очаровательной вдовушки звучит снова, как смех русалки или ночной эльфы, покачивающейся па чашечке цветка. Да, эта ночь прекрасна. Сад, опоясанный длинною, извилистою гирляндю цветных фонариков, кажется какой-то волшебной феерией вокруг белого, старинного, стильного палаццо. Но выше и дальше черный бархат западной ночи поглотил в себя эти пестрые, разноцветные праздничные огни. А здесь, у дальней скамейки па берегу, приютившейся над самой водою, под кровом беседки, воздушной и легкой, как готический замысел старины, опять полутьма и нежащее веяние тишины. Лица собеседников едва намечаются в этом призрачном полусвете, ближайшие фонарики бросают причудливый свет на их черты. А в ушах все звучит трепетно и истомно радостная, сладкая мелодия модного вальса. И эти розы на куртинах так чудовищно пахнуть

сейчас!

– Я – точно пьяная нынче, – не своим и словно смягченным голосом говорить вдовушка. – Я влюблена в эту ночь и в эти розы, и еще в кого-то, сама не знаю, в кого.

– Увы! Не в меня конечно?

– Увы! Не в вас, маленький Толя. И мне это, поверьте, досаднее, нежели вам.

– Да, охотно верю, потому что вы не можете не знать. что я люблю вас столько времени, – отвечает молодой офицер без тени обычной шутиivosti в тоне.

– А Жильберта? А Ирэн Круцкая? А Бэби, ради которой вы наделали прошлой осенью столько долгов? Вы видите, я осведомлена по этому поводу лучше, нежели вы это предполагаете, мой маленький, – и Зина снова смеется.

Анатолий смотрит с минуту на нее влюбленными глазами, потом говорить глухо:

– Молчите или сейчас вот опрокину вашу головку себе на руку, Зина, и вопьюсь губами в ваш дерзкий рот, в ваши алые вкусные губы, которые столько времени дразнят меня...

– И вы о-сме-ли-тесь!

– Моя любовь осмелится, Зина. Берегитесь!

Голос молодого человека вздрагивает, его горло сжимается судорогой страсти.

Нет, довольно однако, пора это пресечь!

И хрипло, сдавленно вырывается у него из груди слово за словом. Да, он любить Зину, любить давно – два, три года.

Не все ли равно сколько? Но он болен, болен этой любовью, пусть же она это поймет. Он хочет любить ее всегда, открыто обладать ею. Её душой и телом, потому что она прекрасна. Жильберта, Бэби, Ирэн... Смешно, право! Один вздор, и только... Все это – вздор, игра нервов и крови... А ее он любит безумно. И вот в последний раз спрашивает он ее: «Да» или «нет»? Согласна ли она стать его женою? Он ждет её слова, её последнего, решающего слова.

Руки Анатолия отыскивают в темноте пальцы Зины и сжимают их так сильно, что она вскрикивает от боли.

– Но вы с ума сошли!.. Вот странный, необычайный способ делать предложение. Да ведь мы – не скифы, мой милый.

– Я люблю вас и жду ответа.

Глаза Анатолия горят, как у кошки, в темноте, а голос по-прежнему глух и странен. В нем таится сейчас не то угроза ей, не то...

Зине становится не по себе сейчас, в эти минуты, и от его сильных пальцев, продолжающих больно сжимать её кисть, и от его голоса. И его обычно жизнерадостное, молодое лицо кажется сейчас таким новым, сумрачным и угрюмым в полутьме, что это заставляет ее стать сосредоточенной и сдержанной сразу. С деланным спокойствием она спрашивает его:

– Маленький Толя, сколько вам лет?

Молодой человек с минуту колеблется, потом отвечает с заминкой:

– Двадцать пятый.

– То есть двадцать четыре всего? Так? А мне уже под тридцать, мой милый. А вы знаете, что приносить неравный возраст супругов в таком случае? И потом я не рождена для брака. Я страстно люблю искусство, сцену и мечтаю о ней, она кажется мне желанным, священным храмом, и брак для артистки по призванию, это – петля. Или я действительно должна влюбиться, чтобы променять свою царственную стихийную свободу на звенья брачных оков. Но теперь, сейчас меня еще кружат знойные вихри; я мечусь среди этого пламени, пожирающего меня. Я чувствую себя жрицей, цель которой поддерживать, раздувать священное пламя, зажженное кем-то незримым и таинственным в моей душе. А пошлость брака и однобокой, односторонней любви загасить огонь и превратить меня из жрицы в самую обыкновенную, самую ничтожную обывательницу-самочку, жену, мать и хозяйку, – страстно заканчивает звенящий голос Зины, и вдруг, как бы спохватившись, она вскакивает со скамейки. – Теперь идем в зал, маленький Толя! И не смейте – слышите? – не смейте дуться на меня!.. У каждого своя планета, как говорить наша почтенная Маргарита Федоровна, когда ее просишь погадать на картах. Ну, бежим танцевать, маленький Толя, а то вы можете быть уверены, что провинциальные кумушки тотчас же сплетут вокруг нас целые гирлянды тех пышных цветов, которые именуются сплетнями. А я этого не хочу, да и вы, я думаю, тоже. Ну, так вашу руку, и будем свободны и ясны, как боги!

А темная, теплая, благовонная ночь колдует по-прежнему. Бесконечной вереницей по всем комнатам громадного старинного дома, через картинную галерею, через грандиозную столовую, через целый ряд приемных тянется, вьется пестрая лента танцующих. Дирижер, Никс Луговской, кавалер Муси, придумывает запутаннейшие фигуры бесконечного котильона.

Но вот неожиданно врываются в контрданс удалые звуки бешено-лихой мазурки. Звенят шпоры, стучать каблучки, шелестит со свистом серебристый шелк платьев и, миновав террасу, живописно декорированную цветущими растениями, пара за парой выносится в сад.

Никс словно сквозь землю проваливается куда-то, и Муся остается на мгновение одна. Старый орешник приходится прямо над головой девочки, и она, как белая фея среди этой густой, тенистой аллеи, стоит, озаренная светом разноцветных фонарей.

– Марья Владимировна, а данное обещание? – и «любимец публики» с вкрадчивым выражением впивается в девочку загоревшимся взглядом.

– Обещание? Ах, да! Но как же? Тут... Я... мне...

– На одну минуту, мадемуазель, мне нужно сказать вам два слова, – говорить Думцев-Сокольский громко, так, чтобы слышали все, и, как власть имущий, продевает свою руку под худенькую детскую ручонку Муси, а затем, не изменяя темпа и па мазурки, уносится с нею вместе из полосы све-

та в чашу сада, туда, где глубокий пруд меланхолически поблескиваешь отраженными в его гладкой поверхности разноцветными огнями фонариков.

Здесь совсем пустынно. Сказочной кажется сквозная готическая беседка из белого мрамора на её берегу, волшебными – огни, повторенные водяной бездной.

– Марья Владимировна... Муся, крошка Муся! – слышит страстный шепот актера у своего уха девочка. – Разрешаете вы поцеловать вас? Ведь вы мне это обещали сами, если роль Ани удастся вам. А вы были в ней – сама весна, сама юная жизнь...

И вкрадчивый голос льется прямо в душу Муси, а глаза, огромные и значительные, нестерпимо блестящие в кругах полустертой туши, смотрят с плотоядным выражением в лицо девочки.

Этот взгляд, как это ни странно, кружить сейчас голову Муси. Нет ничего мудреного в этом: ночь так волшебна, так колдовски прекрасна, а бравурная мелодия мазурки, смягченная расстоянием, так сладко баюкает слух, и розы почему-то особенно остро и нестерпимо пахнут! Они туманят голову и пьяным угаром наливают мозг.

Обессиленная каким-то неведомым чувством, Муся опускается на скамью. Черные блестящие глаза приближаются к ней, к её лицу, глазам и полуоткрытым губам. На миг гаснет сознание... О, она не испытывала еще таких острых и знойных ощущений! Яд мужского поцелуя не обжигал еще её губ.

Её любовь к тому «милому избраннику» её души, далекая и туманная, как любовь принца Жофруа к далекой принцессе Грезе, так непохожа на это чувство. Смутно, горячею лавою бродить неосознанный еще огонь желания в её крови, и она стучит пульсом и бьется в жилах. Мгновенно высыхает горло, холодеют кончики пальцев и знойно загорается мозг. Приближающееся к ней лицо кажется гордым и прекрасным. И вдруг запах сигары, вина и еще чего-то чуждого и неприятного доносится до нее.

А вдали, где-то там в стороне, вырастаешь мгновенно другой образ, другие черты, другие глаза. Охваченная чувством отвращения девочка отталкивает актера и шепчет С гадливым испугом, отчаянием и ужасом:

– Оставьте меня! Уйдите! Не смейте прикасаться ко мне! Вы – противный, и я люблю другого и никогда – слышите? – никогда не изменю моей настоящей любви!

И, закрыв ручонками лицо, Муся рыдает, мучительно содрываясь всем телом...

А музыка все нежит и баюкает своей истомной мелодией, то бессознательной и волнующей, как первое девичье признание, то вновь разрастающейся и бурной, с искрами огненного фонтана, с пламенем непреодолимых, жгучих желаний, стремящихся к осуществлению.

Танцующие снова несутся по широкой каштановой аллее к дому; в последней паре, умышленно отставь от пестрой и шумной толпы, рука об руку, небрежно скользя по песку –

Вера и Рудольф. Он снял с себя грим и костюм Лопухина; но она осталась в своем черном, так похожем на иноческое, платье, и под темным же, низко надвинутым на лоб, платочком горят нынче нестерпимо её обычно тусклые глаза. Женским чутьем Вера поняла, что этот скромный наряд ей пристал больше и лучше всякого бального туалета, и с бессознательным, несвойственным её натуре кокетством она предпочла на все время танцев остаться в нем. Она крепко захолодевшими руками сжимает руку Рудольфа и шепчет:

– Завтра к одиннадцати приходите к нам. Когда я переговорю с рарб, то позову вас тотчас же. Вы войдете к нему, когда почва будет уже подготовлена, и будете смело просить моей руки. Слышите вы меня, Рудольф, Дорогой мой?

– Тише... Во имя неба тише, фрейлейн Вера! Если ваши слова услышу не один я, то наше дело будет проиграно.

– О, не бойтесь! Теперь уже нечего бояться. Я боле чем уверена в согласии рарб... И завтра – о, завтра, Рудольф! – я обниму вас уже как своего милого, бесконечно любимого жениха.

И обычно пустые, суровые глаза строгой девушки сияют мягким, ласковым светом; в них словно загорается кусочек неба с его алмазными звездами, с его примиряющей кротостью и тишиной.

Глава IX

– К вам можно, рабб? Разрешите вас побеспокоить?

– Ты, Вера? Войди.

Владимир Павлович, еще бодрый шестидесятилетний старик, только что проглотил свою обычную порцию подогретого виши и сделал утреннюю прогулку для вящего урегулирования действия воды. Вернувшись из сада в кабинет, он занялся утренней почтой. На старинных часах пробило металлическим, рассыпчатым звоном одиннадцать ровных ударов-колокольчиков. Бонч-Старнаковский старший поморщился; привыкший вставать в семь часов утра и зимою, и летом, он был недоволен тем, что вследствие спектакля и вечера проспал нынче до десяти.

– Стоит только раз нарушить равновесие – и все пойдет наизнанку, – сказал он сам себе, мельком взглянув на часы и тотчас поворачивая к дверям свое красивое, холеное лицо старого барина.

В легком темном, по своему обыкновению, летнем наряде (она не выносила светлых цветов) Вера подошла к отцу, наклонилась и поцеловала его руку.

– Что скажешь, девочка? Важное что-нибудь? – шутливо обратился старик к дочери.

Этот шутливый тон, так необычайный в отце, как-то сразу успокоил Веру и подал ей надежду.

– Да, милый раб. То, что я хочу сказать вам, очень важно, для меня конечно, – нашла она в себе силы ответить свободно и легко.

– О, ты меня интересуешь! Или получила, может быть, какие-нибудь известия от мама и Китти?

– О, нет! Я хотела поговорить совсем о другом.

Тут Вера запнулась и смущенно взглянула мимо головы отца в окно, на кусочек бирюзового неба, сквозившего между верхушками стройных пирамидальных тополей.

Бонч-Старнаковский смотрел на дочь и думал в это время: «Бедняжка!.. Как она нехороша собою! В ней совершенно нет женственности. Ей недостает красок и свежести молодости. Но какое, однако, сходство с моей покойной матерью! Те же черты, та же сухость фигуры у одной из всей семьи. Дай только Бог, чтобы темперамент Веры оказался другой, иначе было бы слишком грустно».

Дочь неожиданно прервала нить его мыслей:

– Я не люблю никаких подходцев и хитростей, вы это знаете, и потому хочу быть вполне откровенной с вами и сразу. Я полюбила человека, которого считаю лучшим и достойнейшим из людей... Он любит меня тоже... И будет у вас сегодня, вернее – сейчас, просить моей руки у вас. Но, прежде чем он явится к вам, я хотела подготовить вас к событию и... и... Просить вас поверить бескорыстному чувству этого человека, который действительно любит меня.

Вера снова запнулась и покраснела; румянец залил все её

смуглое лицо густой волной.

Покраснел и Бонч-Старнаковский, но скорее от неожиданности, нежели от волнения.

– Вот как? – произнес он, внимательно и зорко глядя в лицо дочери. – Вот как? Признаться, это для меня – сюрприз. Может быть, знает мама по крайней мере о твоём... твоём выборе?

– О, нет, она ничего не знает! Я пришла к вам первому. Я...

Брови старого дипломата нахмурились.

– Ну, кто же он, твой избранник? – все еще но спуская с лица дочери зоркого, пристального взгляда и машинально теребя нож для разрезывания книг, спросил старик.

– Это... Рудольф фон Штейнберг, – с некоторым усилием произнесла дрогнувшим голосом Вера и вдруг побелела, как платок: она увидела, как дрогнуло лицо её отца, как судорожно свелись над переносицей его еще совсем черные брови и трепетно-горестно изогнулись губы.

– Кто? – не веря своим ушам, произнесли эти губы. – Кто? – и темно-багровый старческий румянец стал медленно ползти и заливать лоб, щеки, шею. – Что ты сказала? Кто? Рудольф? Сын нашего Августа Карловича? Да? Или я не так тебя понял? Отвечай!

– Да... да... – скорее угадал, нежели расслышал, Владимир Павлович.

Наступила пауза, томительная для обоих. Она длилась до-

вольно долго.

И вот неожиданно, юношески-бодро Владимир Павлович поднялся с кресла и вытянулся во весь свой высокий, стройный рост.

– Ты говоришь, – с усилием выговаривая слова, произнес он, со странным выражением глядя на дочь, – ты говоришь, что сам он... этот... Рудольф явится ко мне... Сам со своим предложением?

– Да, он уже по всей вероятности здесь и ждет, чтобы о нем доложили.

И, выговаривая эти простые слова, Вера решительно могла дать себе отчет, почему так предательски заметно вздрагивает её голос.

– В таком случае позови его сюда... Пусть войдет!

Девушка выходит и входит снова, и ей кажется, что пол под её ногами горит. За ней робкой походкой следует Рудольф. Его лицо бледно до синевы, но выпуклые глаза спокойны, и с обычной горделивой самоуверенностью сложены губы.

– Ага! Это – вы? Прекрасно! – и Владимир Павлович живо поворачивается в сторону вошедшего, и глаза его точно пронзают его взглядом насквозь.

С минуту, показавшуюся неволью смутившемуся сейчас Рудольфу целой вечностью, старик молча смотрит на него тем же взглядом, каким по всей вероятности крыловский слон смотрел на зазнавшуюся пред ним моську. Под этим

жутким взглядом Штейнберг чувствуете себя как рыба на крючке. Но, слава Богу, кажется, господин советник прекратит сейчас неприятное молчание.

Тот действительно прекращает его.

– Итак, господин Штейнберг, вы любите мою дочь? – с непонятым для Рудольфа выражением лица и глаз спрашивает старый барин.

– Так точно, господин советник, я люблю фрейлейн Веру.

– И хотите, если не ошибаюсь, просить у меня её руки?

– Именно так, господин советник. Я желал бы иметь счастье просить руки вашей дочери.

– И вы уверены, что моя дочь любит вас?

– О, господин советник! – с деланной скромностью произносит Рудольф, – если бы я не знал этого, то не рискнул бы... Беспokoить ваше превосходитель...

Он не договаривает. Багровый, с выкатившимися аз орбит глазами Владимир Павлович подается вперед, поднимает руку и кричит задохнувшимся голосом, в котором нет ничего человеческого от охватившего его негодования, бешенства и гнева, указывая на дверь:

– Вон! Сию же минуту вон из моего дома! И если я увижу тебя здесь еще раз, – я не ручаюсь, что не проучу тебя собственноручно, зазнавшийся хам, бесстыдный наглец, нахал!

Полдень. Длинные тени от старых вековых дубов, от вершин дикого орешника прихотливыми узорами бороздят лесные тропы и поляны.

В лесном домике идет лихорадочная работа. Рудольф и Фриц, оба в тех же партикулярных платьях, стоя на коленях у края подполья, извлекают оттуда все то, что так тщательно хранилось там до этой минуты: планы, бумаги, снимки – снимки местностей, окрестных усадеб и дорог и, наконец, план города и крепости, добытый Рудольфом с таким трудом при ближайшем содействии его верного денщика Фрица. Эти снимки, эти планы ему поручил сделать сам господин полковник фон Шольц, его ближайший начальник по штабу.

– Лейтенант Штейнберг, – сказал он Рудольфу еще месяц тому назад, отпуская молодого офицера как бы в отпуск, на побывку к отцу, за русскую границу. – Вам известна воля его величества, нашего могущественного и непобедимого монарха? Вы знаете, что все усилия кайзера приложены к процветанию славы, мощи и военной силы нашего драгоценного отечества. И вам должно быть известно также, как великодушно умеет отличать. и награждать верных сынов дорогой родины наш обожаемый государь. За ним не пропадет ни малейшая услуга. Лейтенант Штейнберг, вы знаете, кто

– наши исконные враги, враги кайзера и великой нации, кто противостоит нашим дальнейшим успехам на пути к мировому могуществу? Конечно же Россия, больше всех остальных стран Россия, страна варваров и кнута, казаков и неотесанного, грубого мужичья. Их славянская кровь и злоба против нас должны получить когда-нибудь неизбежное возмездие. И час этот приблизился, Штейнберг. По крайней мере мы, германцы, давно приготовились к нему; наша могучая армия давно ждет прыжка дикого зверя, чтобы с должным достоинством отразить его во всеоружии. Но, чтобы знать, откуда может быть направлен этот прыжок и куда мы должны ударить в свою очередь, нам нужно покрыть сетью съездов эту страну, знать каждый её путь, каждую крепость, каждый город. Многие из наших смельчаков-офицеров храбро отдали себя делу таких ценных разведок, достижения всяких возможностей в смысле планировки местностей в дорог нашей неугомонной соседки. И я предлагаю вам присоединиться к ним, как знающему русский язык и проведшему детство среди русских. Вообще вам легче, чем кому другому, удастся работать в этом направлении. Ну, так смело вперед!

И Рудольф исполнил поручение. Планы крепости и дорог давно приобретены им. Чего только не стоило ему это! Он переодевался в грязные лохмотья обнищавшего шляхтича, наряжался торговцем ягод, просил милостыню под стенами цитадели, – словом, пользовался всеми имеющимися у него данными, чтобы как можно успешнее выполнить порученное

ему дело. Теперь все кончено. Жаль только, что приходится с таким позором убираться восвояси. Чего доброго, и старый отец еще лишится места! И все это из-за глупой девчонки! Не надо было ему, Рудольфу, слушаться этой дуры и лезть с просьбой руки и сердца к старому, зазнавшемуся, спятившему с ума маньяку, помешанному на своей родовой гордости.

Следовало просто увлечь девченку и заставить ее тайком бежать с ним на его родину, в Пруссию, там повенчаться с нею и уже оттуда хлопотать о вручении им бабушкиного наследства, которого не сможет лишить Веру ни один дьявол в мире. Да и не каменный же наконец старик Бонч-Старнаковский! Ведь простил бы он когда-нибудь дочку. А тогда... О, тогда, вращаясь в их кругах, он, Рудольф, мог бы принести столько незаменимых услуг своей родине, не говоря уже о том, что был бы мужем девушки из старинной аристократической семьи со связями и положением в России.

Но вместо этого он получил только брань и угрозы. Старый дипломат бранил его, как мальчишку, и даже угрожал ему, Рудольфу Августу Карлу фон Штейнбергу. Ага! Хорошо же! Надо быть трусом и идиотом, чтобы простить ему эти угрозы.

«О, я не забуду ни единого, произнесенного советником, слова и... Берегитесь, господин советник! Мы еще, может статься, встретимся с вами, и тогда вы поймете, что за ничтожество, что за хам лейтенант Рудольф фон Штейнберг!»»

Часть вторая

Глава I

Маленький очаровательный городок южной Саксонии. Он весь в цепких, ползучих гирляндах мелких-мелких горных роз, наполняющих его своим благоуханием. С уступа на уступ вьются эти живые гирлянды прихотливыми изгибами пестрой душистой ленты. Нежно-бархатная зелень кустарников составляет чудесный фон для их алых, пурпуровых, бледно-розовых и совсем белых цветов.

Горы над Эльбой стоят, как алтари, окутанные таинственной дымкой в своем заколдованном кругу, омытые у подножия зеленовато-синими волнами красавицы-реки. Она, как сказочная принцесса, заключена в этот заколдованный круг, словно в замок чародея, и мечется, и ропщет, и поет, и плачет, не находя из него выхода.

Легкие и изящные пароходики часто снуют по зелено-синим волнам Эльбы. По правому берегу, если держать путь от Дрездена, вьется дымящейся лентой поезд. Он кажется игрушечным, когда смотришь па него с палубы парохода, скользящего по реке.

Маленький город полон туристов, а также отдыхающих здесь после лечебного курса курортных больных. Многих

посылают сюда немецкие и австрийские доктора,

Зная живительную прелесть горного воздуха этого самого поэтичного уголка Саксонии, где так сладко-дурманно пахнуть розы по утесам и примирительно плачет красавица Эльба внизу. Здесь спокойно и уютно. Каждый день от четырех до семи вечера в городском парке певуче гремит струнный оркестр, и скромная толпа, так отличающаяся от обычно нарядной толпы курорта, медленно дефилирует по главной эспланаде.

Ровно в четыре, с первыми звуками музыки, в конце аллеи вот уже вторую неделю показывается маленькая группа людей, обращающих на себя всеобщее внимание. Опираясь одною рукою на руку высокого, элегантного молодого человека в безукоризненно сшитом летнем костюме, с лицом и видом переодетого принца, выступает пожилая, величавая дама. У неё седые волосы, желтое обрюзгшее от болезни лицо и страдальческая улыбка. Другою рукою она опирается на руку прелестной девушки, изысканно одетой в эффектный, сшитый по последней моде костюм. Из-под дорогой шляпы выглядывает миниатюрная головка с правильными, точно выточенными, чертами, жизнерадостно сверкают темные, блестящие глаза. Эти глаза, похожие на черные звезды, как-то особенно ярко и эффектно дисгармонируют с золотистыми пушистыми волосами. Ослепительная кожа, подернутая легким румянцем, и гибкая, стройная фигура девушки дополняют собою красоту двадцатичетырехлетней красавицы,

Екатерины Владимировны Бонч-Старнаковской, или Китти, как зовут эту девушку в её кругу.

Когда по утрам старуха Бонч-Старнаковская берет ванну, а Китти в обществе своего жениха – высокого, смуглого, с карими серьезными глазами, своеобразно интересного молодого человека, – сидит на веранде гостиницы и просматривает газеты или слушает чтение Бориса Александровича, – все окружающие невольно обращают на них внимание и подолгу заглядываются на красивую пару. Когда же на музыке они оба медленно движутся по аллеям и эспланаде городского парка, – их провожают не то завистливые, не то восхищенные взгляды гуляющих. Они приехали сюда прямо из Карлсбада, по настоянию врачей, прописавших отдых и успокоительный ванны Софье Ивановне, и чувствуют себя отлично среди цветущих гор саксонской Швейцарии.

Затерянные среди чужих, незнакомых людей, уставшие после шумной карлсбадской курортной жизни, полной суматохи, Китти, и Борис совсем счастливы своим вынужденным одиночеством в Ш. Немного музыки, немного чтения, немного милой, интимной болтовни. А эти дивные прогулки верхом в горы, к знаменитым развалинам легендарного замка, повисшего, как ласточкино гнездо, над стремниной пропасти! Китти, вполне светской и выдержанной барышне, с традициями её быта, с малолетства привитыми к ней, кажется, будто она, живя здесь, в этом маленьком поэтичном раю, читает какую-то упоительно интересную книгу, герои-

ня которой, словно две капли воды, похожа на нее. Как нова, как удивительно интересна такая жизнь! Идиллия, переживаемая ею в присутствии жениха, в его обществе, кажется ей какую-то прелестной и изящно написанной повестью, увлекшей ее, читательницу, в совсем новый и заманчивый мир.

Короткие летние сумерки подкрались и сдвинулись над высокими горами и узкими, глубокими безднами. Отзвонил часы колокол на ратуше, и вслед затем сразу, как по команде, замолкла музыка в городском саду. Толпа гуляющих торопливо схлынула в боковые аллеи с широкой эспланады парка, все заспешили к ужину, каждый в свою гостиницу.

Опираясь на руку будущего зятя, проследовала и Софья Ивановна в «Король Пруссии», лучшую гостиницу на набережной, где она занимала вместе с дочерью прелестное небольшое, обособленное помещение. Борис Мансуров остановился поблизости, в другой гостинице, через дорогу.

– Ну, вот и довели вашу калеку, дети! – тяжело переставляя постоянно отекающие, вследствие болезни почек, ноги, говорить Софья Ивановна у порога салона. – Скучная обязанность, не правда ли, дорогие мои, а тем более, когда молодость зовет на волю, к природе, к тихому вечеру, к радостям жизни. А я тут со своей болезнью, как на зло, стою вам поперек пути, требуя от вас столько забот...

При этих словах она нервно морщится, как от боли.

В две секунды Китти, замедлившая было в маленькой прихожей, уже около матери.

– О, мама, не говорите так! Это вы-то нам в тягость? Борис, да успокой же ты маман! скажи, что оказывать ей услуги – для нас счастье.

И она своей милой головкой прижимается с ей одной свойственной нежностью к сухой, впавшей груди матери.

Слезы внезапно выступают на глазах Софьи Ивановны. О, она вполне верит в искренность и любовь своей старшей дочери и платит ей в свою очередь безграничной материнской любовью. Китти – её любимица. Ей, матери, нравится эта прямая, открытая, жизнеспособная натура старшей дочери. Нет ничего сложного, непонятного в душе Китти. Отец считает ее даже недалекой, и это мнение постоянно раздражает Софью Ивановну. Китти далеко не глупа: она только простодушна и ясна, как ребенок, и, жадно любя жизнь, не скрывает этого. Ее, как дитя, радует собственная красота, которую она не прочь подчеркнуть эффектной рамкой в виде дорогих, модных костюмов и золотых украшений, к которым она чувствует явное пристрастие. Она любит и кокетство, не прочь, чтобы за нею ухаживали, но опять-таки это все – исключительно свойство её сангвинического характера. В двадцать три года Китти – ребенок, а между тем чувствовать она умеет тонко и глубоко. Это самым наглядным образом доказывается её нежной привязанностью к жениху и самоотверженной любовью к ней самой, Софье Ивановне, искалеченной болезнью матери. С Китти легко: у неё нет замкнутости и суровой угрюмости Веры, стоившей многих мук Софье Ива-

новне, ни увлекающегося, нервного темперамента Муси, исковерканной институтским воспитанием и не в меру избалованной окружающими – этого «enfant terrible» семьи. На Толю, милого кутилу, на чуткого и славного весельчака Толю, гордость и бич семьи (каких долгов наделал он в позапрошлом сезоне!), похожа Китти, но только она во сто раз спокойнее и уравновешеннее брата. А как она самоотверженно ухаживает за нею, больною, казалось бы, никому ненужной старухой! Другая, будучи невестой и находясь поблизости любимого жениха, и думать позабыла бы о больной матери, а она, милушка, не отстает ни на шаг и не ищет уединенных прогулок вдвоем с Борисом.

И Софья Ивановна, преисполненная благодарности, нежно, с любовью целует дочь.

Глава II

– Смотри, какая красота, Борис!

Действительно – красота! В восемь вечера здесь, над Эльбой, уже прочно воцарилась ранняя июльская ночь. Луна набросила на горы и реку свою причудливую серебряную пряжу, и их сказочная красота выступила ярче, рельефнее в лучах задумчивого месяца. И темная Эльба вдруг просветлела на своей поверхности, на которую кто-то незримый и таинственный брызнул дождем расплавленного серебра. Пробежал последний пароход и, словно прощаясь до утра, прогудел громким, басовым звуком. Вдали свистнул дрезденский поезд, и все стихло.

Лодочник-саксонец с грошовой зловонной сигарой во рту и со своим сизым носом меланхолически греб вниз по течению. Пахло розами с берега, сыростью на реке.

Плотно прижавшись друг к другу, Борис и Китти сидели на корме лодки. Вдали сияла серебряная дорога, по берегам сверкали бесчисленные, освещенные окна гостиниц. Кто-то запел под аккомпанемент рояля незнакомый немецкий романс.

– Тебе хорошо так, милая? – нежно наклоняясь к лицу невесты, спросил Мансуров.

Его лицо в этом причудливом голубовато-серебряном свете казалось особенным, полным значения.

– О, Борис! – могла только ответить девушка и крепко сжала его руку, не отрывая взора от его преображенного лица. Её глаза несколько секунд разглядывали его с явным восторгом. – Какой ты смуглый, какой особенный!.. Знаешь, мне иногда хотелось бы надеть на твою голову старинную драгоценную тиару, что носили древние властители Востока, или накинуть на твои плечи белый плащ с капюшоном, чтобы ты стал похожим на бедуина со своими темными глазами и смуглым лицом. Не знаю почему, но я страстно люблю мистический Восток, а у тебя тип индийского раджи или молодого жреца египетского храма, только что посвященного... Ну, словом, ты безгранично нравишься мне, Борис! – неожиданно, с детски простодушной улыбкой заключила Китти.

– А я просто люблю тебя, моя радость.

– О, и я люблю тебя безгранично. Когда я думаю о том, что через несколько месяцев наша свадьба, у меня становится так радостно и легко на душе!.. Я не боюсь будущего, Борис. Моя любовь будет вечной.

– Ангел мой! Красавица моя!

– Да, да, вечной она будет, хотя я – враг сентиментальности и трогательной привязанности до «могилы». Я прежде, до нашей встречи, скептически относилась к такой любви, а теперь, как видишь, сама люблю тебя так же и даже не допускаю ни малейших вариаций на эту тему. Пойми, я боюсь даже подумать о том, что ты можешь привыкнуть ко мне и охладеть, что когда-нибудь ко что посвященного... Ну, сло-

вом, ты безгранично нравишься мне, Борис! – неожиданно, с детски простодушной улыбкой заключила Китти.

– А я просто люблю тебя, моя радость.

– О, и я люблю тебя безгранично. Когда я думаю о том, что через несколько месяцев наша свадьба, у меня становится так радостно и легко на душе!.. Я не боюсь будущего, Борис. Моя любовь будет вечной.

– Ангел мой! Красавица моя!

– Да, да, вечной она будет, хотя я – враг сентиментальности и трогательной привязанности «до могилы». Я прежде, до нашей встречи, скептически относилась к такой любви, а теперь, как видишь, сама люблю тебя так же и даже не допускаю ни малейших вариаций на эту тему. Пойми, я боюсь даже подумать о том, что ты можешь привыкнуть ко мне и охладеть, что когда-нибудь мои поцелуи не будут давать тебе ту острую волну радостную радость, какую ты испытываешь теперь. – Этого не может быть, мое счастье! Ты слишком хороша, слишком волнующе-прекрасна, чтобы с тобою могла угаснуть волнующая страсть, любимая, обожаемая моя. Ты не можешь себе представить, что я переживаю, когда слушаю тебя, когда вижу твое милое личико, прижимаю твою родную головку к своей груди. Ты вошла в мою душу, Китти, влила сладкий и острый яд в мои жилы, ты...

– Говори, говори!

– Я хочу говорить все то же, что и прежде, моя птичка, – старые, знакомил песни. Я страстно люблю тебя, мою ра-

дость, царевну сказочную мою.

– О, говори, говори!.. – Нас никто и ничто не разлучит с тобою... Слышишь, Китти? Я хочу владеть тобою один, безраздельно, всю жизнь, поклоняться тебе, как раб – своей царице, и властвовать над твоей душой, над твоим телом, как твой властитель и царь. Да, и над телом, радость моя, тоже.

– Говори!

О, рай какой, какая истома! Смуглое лицо Бориса с худыми скулами, с тонкими чертами, говорящий о породе, все пронизано сейчас беззаветно-страстной любовью. И карие бархатные, мягкие глаза как будто льют источник дивного, ласкающего света. Его горячая рука, лежащая на талии Китти, жмет ее через тюль воздушного платья, через шелк корсета. Какая мука, что в двух шага от них торчит этот рыжий саксонец и явно недружелюбно поглядывает на счастливых! Китти нельзя даже прикинуть сейчас к любимому человеку, положить голову на его плечо. О, как мучительно-страстно горят её губы и ждут его поцелуев, ждут этих милых губ, которыми он так сильно впивается в её трепетный, уступающий рот! Но саксонец, суровый и неутомимый, не сводит с них глаз, ни на минуту не переставая мерно резать веслами воду. Поневоле приходится владеть собою и говорить о самых простых, обыкновенных вещах, в то время как мозг так и пылает дразнящими представлениями о беглой, отравленной страстью ласке.

– Я получила нынче письмо от Муси, – неровным голосом

бросает Китти и смотрит, как загипнотизированная, на серебряную дорожку месяца на воде.

– Да? Что она пишет?

– Пишет, во-первых, о том, что скука у них «адская», во-вторых, что еще более «адски» скучают они после отъезда из Отрадного папы и молодых людей, что Вера стала тоже «адски» несносной и то придирается ко всем, то плачет у себя в комнате запершись. Потом она еще пишет о сенсационной новости уже вполне домашнего характера: папа разгневался за что-то на Рудольфа Штейнберга и выгнал его из дома, а вслед за этим отказал от места и самому Августу Карловичу. Кажется, молодой Штейнберг надерзил папе.

– Вот как? Но почему же он отказал и старику? Ведь тот, кажется, чуть ли не пятнадцать лет управлял вашим Отрадным, и вполне успешно.

– Ничего не понимаю! Ты знаешь эту бестолочь Мусю: она никогда ничего не сумеет толково рассказать. Выражает свое собственное мнение (какое еще может быть мнение у шестнадцатилетней девчурки!), а именно, что папа отказал немцу из-за «брожения».

– Из-за какого брожения?

– Из-за анти немецкого конечно. После сараевского убийства и недостойных выпадов двух держав тройственного союза против Сербии у нас, видишь ли, убеждены, что война неизбежна. Конечно ввиду возможности объявления её со стороны немцев и австрийцев у папы, как у глубокого пат-

приота, не может быть уже доверия и расположен к германскому подданному, каким является почтенный Август Карлович. Впрочем это – мнение опять-таки Муси, а по-моему, здесь что-то не то.

– Твоя мать знает обо всем этом?

– О, нет! Я постаралась скрыть от неё письмо. Её здоровье требует полного покоя, иначе шесть недель, проведенный на водах, пойдут насмарку. Нет, я ничего не сказала ей про наши новости. Приедет – сама увидит.

– Кстати об отъезде. Через несколько дней кончается срок моего отпуска, голубка. Я надеюсь, что вы вернетесь в Россию со мною вместе... Я должен быть в Варшаве и явиться не позже будущего четверга.

– Какое счастье, что мы еще сможем побыть вместе до конца августа! Ведь ты будешь приезжать из твоей гадкой Варшавы каждый праздник в Отрадное, не правда ли, милый?

– Разумеется. А когда вы уедете в свой гадкий Петербург – почему Варшава может быть гадкой, а ваш Петербурга, не может? Как видишь, я последователен и справедлив, – то я стану считать дни и недели, остающиеся нам до свадьбы. А там прелестная Китти, царица петербургских балов и моя царица, будет похищена своим «восточным деспотом» – увы! не в древней тиаре – и водворится в Варшаве, где она несомненно засияет яркой звездой.

– Ах, хорошо это будет, милый! Лишь бы не было войны!

Так темно и страшно делается на душе, Борис, когда я подумаю о ней.

– Успокойся, детка, никакая война не может быть страшна для русских.

– Но, говорят, Германия...

– Сильна, ты хочешь сказать? Пусть так, но в ней нет того единства, которым сильны русская армия и русский народ.

И Борис еще долго и много говорить на эту тему. Китти, удовлетворенная вполне, затихла и, прислонившись плечом к плечу жениха, мечтательно смотрела на небо. Лодка быстро и незаметно причалила к берегу. Борис Александрович расплатился с рыжим саксонцем, ловко выпрыгнул из лодки и осторожно, на руках, вынес Китти. Теперь рука об руку они стали подниматься по ступеням лестницы, ведущей к гостинице. Вот они исчезли за её поворотом. А рыжий саксонец-лодочник все еще стоял посреди своего легкого суденышка с потухшей сигарой во рту и смотрел им вслед с явным недоброжелательством, злобно ворча себе под нос:

– Проклятые русские!.. Ненавистное славянское племя! Вы снова, как видно, захотели крови, хищники, что подговорили сербов учинить расправу над наследником Габсбургского дома? Берегитесь же! Не сойдет вам это с рук! Будете знать, как обижать при посредстве этих остолопов-сербов благородных наших союзников!

Теперь он уже не ворчал; со свистом и хрипом вылетали слова из горла взбешенного человека, в то время как его ку-

лаки грозили в ту сторону, где по дорожке, ведущей к гостинице, медленно подвигалась счастливая пара.

Глава III

Это началось как-то неожиданно сразу. Закупая заграничные безделушки для подарков домашним, Китти, очарованная мгновенно (с нею это случалось довольно часто) выставленной в витрине блузкой, вошла спросить о цене. Ее встретили восхищенными взглядами и хозяин, стоявший за конторкой в отделении кассы, и молодой безусый приказчик, как две капли воды, похожий на него, очевидно его сын. В это утро мальчишки сновали уже по улицам Ш., крича во все горло: – и Германия и Австрия накануне великих событий! Сербия отказалась дать удовлетворительный ответ на ультиматум Австрии! Россия мобилизует свои войска и готовится к нападению! Покупайте, покупайте, есть что почитать!

Китти накупила целый ворох листков немецкой прессы, где с поразительной наглостью возводились невообразимый небылицы на нашу родину. Не желая расстраивать мать до получения более правдоподобных известий уже из русских источников, которые запаздывали сюда доставкой на два дня, девушка предпочла умолчать о газетных сплетнях. Пользуясь лечебными часами матери, она вышла исполнить данные ей поручения. На этот раз Борис не сопровождал невесты, и она была одна.

Китти уже давно привыкла к производимому её красотой на людей впечатлению и не нашла ничего нового в выражен-

ном ей со стороны хозяев магазина восторге. А те точно ошалели сразу – и отец, и сын: заметались, как угорелые, по магазину, разбрасывая пред ней целые десятки блузок, почти с благоговением заглядывая при этом в глаза красивой девушки.

– Фрейлейн нравится это? А может быть, это? О, эта вещь просто-таки создана для вас. У вас такой цвет лица, что только вот эти кружева могут быть достойны прилегать к вашим прелестным щечкам!

– Благодарю вас. Но сколько это стоит однако? Вот эта блузочка например?

– Двадцать марок... А эта – пятнадцать, а эта – восемь... Они только сейчас доставлены из Берлина.

– Как? Вы разве – не саксонцы?

– Пруссаки, кровные пруссаки, хотя и живем в самом сердце Саксонии все последние годы.

– Однако мне это дорого. Двадцать марок – изрядная сумма. Знаете, приходится экономить на обратном пути. Когда ехали сюда, сделали и так много закупок.

– А вы по-видимому – иностранка, не так ли?

О, какой вкрадчивый голос и каше влюбленные масляные глазки сделались у хозяина магазина вот сочась, в эти мгновенья, когда он не сводил взора с лица Китти.

– Да, я – иностранка, – ответила девушка, разглядывая блузку.

– Англичанка конечно или американка? Такие прекрас-

ные волосы а кожа могут встречаться только у них.

– Нет, ни то, ни другое. Я – русская.

– О! – вмиг плотоядно нащупывающие глазки старого немца округлились, как у птицы, загорелись бешенством и запрыгали, налившись кровью. – Русская! Бесстыдная русская! – завопил он, стуча кулаком по прилавку и в исступлении топая ногами. – А еще смеет приходить... смеет торговаться... говорить, что дорого... О, варвары! О, злодеи! И они еще здесь? Их еще не вышвырнули за порог нашей прекрасной родины?

Пруссак был, как безумный. Он выскочил из-за прилавка и одной рукой указывал на дверь Китти, а другой тыкал жирным пальцем в плечо ошалевшей от испуга девушки.

Не помня себя, она выскочила за порог магазина и стала спешно удаляться от ужасного человека, все еще продолжавшего неистовствовать у своего порога и выкрикивать какую-то бессмысленную брань и угрозы ей вслед.

Взволнованная и потрясенная прибежала в гостиницу Китти и, запершись в своей комнате, дала полную волю слезам. Наплакавшись она смыла следы слез с лица студеной водой и, только вполне успокоенная, рискнула пойти к матери. От неё, как и от Бориса, девушка решила скрыть подученное ею оскорбление. И без того им было нелегко теперь. Прислуга в гостинице, до сих пор сгибавшаяся в три погибели пред «её превосходительством», так как получала щедрое «на чай» от Софьи Ивановны, теперь спустя рукава прислу-

живала Бонч-Старнаковским, как и всем приезжим русским, и при каждом удобном случае говорила дерзости. В воздухе пахло грозой. Тучи на политической горизонте заметно сгущались. Слово «война» было теперь у всех на устах. Больные и здоровые спешно устраивали свои деда, ликвидировали лечение и, уложив чемоданы, спешили уехать на Дрезден и дальше на Берлин.

А потом сразу наступил сумбур, началось поголовное бегство. Поезда и пароходы брались с боя. Бонч-Старнаковские и Мансуров вместе с другими русскими спешно покинули прелестный, поэтичный уголок. Как славно провели они здесь эти две недели. В какой холе и довольстве прожили тут! А теперь? Прислуга, метрдотель, лакеи и девушки провожали их с суровыми лицами; хмуро супились брови; неприязненно, исподлобья, недружелюбно смотрели глаза. Слышались нелестные выражения о России и русских. Как-то сразу забывались русская щедрости, подарки, чай.

– Еще один день проволоочки – и я, кажется, не вынесу, – с тоскою говорила Софья Ивановна, у которой под впечатлением переживаемых волнений снова разыгралась её старая болезнь.

– Успокойтесь, мамочка, дорогая. Только бы нам добраться до Берлина, а там все будет хорошо, – и Китти, как ласковая кошечка, прижималась к матери, заглядывала ей в глаза и всячески старалась нежностью и заботами облегчить её муки.

Под влиянием этой ласки отходила печаль от сердца старой дамы.

– Борис, друг мой, вы будете самым счастливым мужем на земном шаре. Она – сокровище, которое посылает вам Бог. Берегите ее! – говорила растроганным голосом Софья Ивановна, глядя пушистые золотые волосы прильнувшей к её груди головки.

– Я это знаю, Софья Ивановна. Я знаю, что Китти – ангел, – и Мансуров спешил поцеловать руку будущей тещи.

Как ни грустно, как ни тяжело было создавшееся положение, он и Китти все-таки были счастливы. Он часто ловил на себе взгляд малых темных, искрящихся любовью глазок, и душа его снова пела вразрез угрожающей атмосфере, назло предстоявшим еще испытаниям, наперекор всему. Ведь этот темноглазый золотоволосый ангел любить его. Что же ему больше?

Глава IV

– Я не узнаю Берлина. Боже мой, что случилось с его спокойной, добродушной толпой? Борис, мама, почему они беснуются? О чем кричать? Чего просят?

– Это – война, Китти, жестокое, коварное страшилище, фантом в безобразной личине страданий и смерти. Откинься в глубину и не смотри на них! Пусть лучше они не видят нас и не обращают на нас внимания.

Автомобиль ускоряет ход по знаку, данному Борисом шоферу, и, завернув за угол, вылетает на Фридрихштрассе. Здесь собралась еще большая толпа, нежели на оставшейся за ними Лейпцигерштрассеф. Море, целое море, выступившее из берегов.

– Ко дворцу, ко дворцу, дети! Сам великий кайзер будет нынче говорить со своим народом! Ко дворцу! Вперед! Гох, Германии! Гох Вильгельму! Гох союзной Австрии! Долой Россию! Долой Сербию! Францию... Всем союзникам их позор и смерть! – надрываются почтенные бюргеры, безусая молодежь, солдаты, мальчишки и визжать, точно их режут, исступленными голосами женщины. И снова несется долго несмолкающее «гох» в честь «непобедимого» Вильгельма, его народа и армии.

Автомобиль не умолкая трубит и влетает в толпу. несколько человек выскакивает чуть не из-под самых колес

машины.

– Стоп, дети! – слышится чей-то возглас. – Да ведь это – русские!

– Так и есть, именно они. Долой русских! Собаки, свиньи, проклятые!.. Долой Россию, смерть ей!

Шофер невольно уменьшает ход, и машина медленно подвигается среди волн разбушевавшейся и озверевшей толпы. Вокруг испуганных русских теснятся искривленные ненавистью и ожесточением лица, потрясают в воздухе сжатыми кулаками. Несутся отборная ругань, угрозы.

Бледная, чуть живая от волнения, откинувшись на подушки сидения, Софья Ивановна каждую минуту готова лишиться чувств. Они только вчера выбрались из Дрездена и, переночевав кое-как в гостинице под непрерывные крики и шум бушующего и пьяного от злобы и ненависти Берлина, спешат на Фридрихштрасский вокзал. Болезнь почек дает чувствовать себя особенно сильно в последние сутки Софье Ивановне. Как будто совсем без пользы прошел шестинедельный курс самого тщательного, упорного и добросовестного лечения. Старуха теперь только и думает об одном: лишь бы добраться до родины, а там хоть и умереть. Временами, когда крики обезумевшей толпы становятся уже чересчур грозными и жуткими, она с ужасом смотрит на дочь. Лицо Китти бело, как бумага, глаза тревожно устремлены на мать.

– Мама, голубушка, не бойтесь!.. Сейчас доедем. Ах, Боже мой! Ведь нужно же было попасть сюда в самый день объяв-

ления войны! Шофер, умоляю вас ехать скорее. Борис, скажи ему!

– Долой Россию! Долой Сербию и Францию! – все громче и сильнее разрастаются крики, а вслед затем звучит национальный гимн.

– Шофер, двадцать марок на чай... Скорее! – коротко бросает Борис.

Тот оборачивается торжествующий, злобный и смотрит с вызовом в лицо русских.

– Не поеду, – грубо бросает он по-немецки. – Не поеду дальше, не повезу русских... Я – тоже патриот.

– Пятьдесят! – еще короче и резче бросает Мансурову и Китти видно, как вздрагивают его скулы, а руки инстинктивно сжимаются в кулаки.

Но «патриот», по-видимому, вполне удовлетворен чаевою суммою в пятьдесят марок и во весь дух теперь пускает свою машину. Толпа орет, грозить и бушует уже им вслед. Они в безопасности и через шесть минут уже на вокзале.

* * *

– Слава Богу! Хоть как-нибудь, но едем домой, и, говоря это, Китти облегченно вздыхает.

На вокзале сумятица и невообразимый содом. Сегодня пять тысяч русских, застигнутых в заграничных курортах объявлением войны, спешат отсюда на родину. Колоссальная

толпа собралась на вокзале. Вид у всех испуганный, встревоженный, ошалелый.

– Будет еще поезд? Ради Бога скажите только, будет еще поезд нынче до границы или нет? – слышатся отчаянные возгласы то в одной, то в другой группе.

Начальник поезда, красный, упитанный, самодовольный, чувствует себя господином положения, ходить павою и поглаживает густо нафабранные фиксауаром усы. Он играет, как кошка с мышью, со всею этой толпой.

– Поезда не будет! – неожиданно изрекает он с неподражаемым жестом величия и презрения по адресу всей этой толпы.

Раздаются восклицания ужаса, истерические крики, плач женщин. Многие уже успели купить себе билет на последние деньги и теперь, оставшись без гроша в кармане, не знают, что предпринять.

Но грозный олимпиец, натешившись вдоволь своей шуткой, уже кричит громко:

– В вагоны! Тотчас же в вагоны! Да не мешкайте же, черт возьми! Поезд на Штеттин. Кто едет через Штеттин ⁸ в Швецию? Русско-немецкая граница уже закрыта.

Снова суетолока, паника, слезы. Немногим счастливым удалось попасть в поезд. Жандармы суют людей как кукол, по двадцати пяти человек в купе, где места имеется разве

⁸ Современное название города Щецин (Польша). В описываемое время был частью Пруссии.

на шестерых только. Следом за публикой в вагоны входят и солдаты с ружьями.

– Зачем солдаты? – слышатся робкие возгласы.

– Шторы на окнах спустить! В окна не смотреть!

За малейшее ослушание виновные подлежат расстрелу! – звучит по всем отделениям поезда, и, стуча сапогами и прикладами, солдаты занимают все его проходы и коридоры.

Наконец, слышится свисток. Поезд трогается.

– Слава Богу! – еще раз шепчет бледная, измученная Китти и тихонько крестится под дорожной накидкой.

* * *

Да, поезд движется. Сжатая со всех сторон Софья Ивановна с воскресшими в её теле мучительными страданиями полусидит, полулежит частью на сиденье дивана, частью на чем-то чемодане, попавшем ей под ноги. Китти сжалась тут же, подле неё. Борис пристроился в дверях и не сводит взора с невесты и будущей тещи. Как бледны они обе, как пострадались, бедняжки! Он охотно перенес бы какие угодно муки, лишь бы облегчить им их долю. Но что он может сделать теперь? О, проклятая беспомощность, проклятое бессилие!

А в купе между тем становится нечем дышать.

Июльский полдень душен, как пред грозой, атмосфера насыщена, накалена электричеством, а окна нельзя откры-

вать по предписанию неумолимого немецкого начальства.

Жаловаться тоже нельзя. Грозно вытянулась в коридоре щетина штыков караула. Солдаты чувствуют себя свободно, как дома, и наступают огромными сапожищами на располжившихся на полу путешественников, которым не хватило мест в купе. Через открытую дверь видно как два драгуна-офицера, дымя зловонными сигарами, стоя у окна, оживленно обмениваются между собою замечаниями и игривыми словечками по поводу находящихся в отделении молодых дам и барышень. Их глаза все чаще и чаще направляются в ту сторону, где, уронив усталую золотистую головку на плечо матери и полузакрыв глаза, сидит Китти. Она устроилась у самого входа, и живая стена пассажиров и пассажирок не закрывает её от глаз двух собеседников. Оба офицера, по-видимому, пьяны, от них пахнет пивом. Замаслившимися глазами впиваются они в красивую девушку, и их лица, лишённые индивидуальности, словно склеенные из папье-маше по общему прусскому образцу, пылают.

– Недурна! положительно хороша! И цвет волос необыкновенный. Что вы скажете на это, господин обер-лейтенант? – говорить офицер помоложе своему товарищу по оружию, у которого распущенные рыжие усы торчат, как у кота в марте.

– Крашенная! – пренебрежительно роняет тот.

– Гм... Вы думаете?

– Крашенная, конечно!.. Таких волос не бывает на самом

деле даже у француженок. А впрочем...

– Но не все ли равно – крашенная она или нет? На мой взгляд, она – все-таки милашка. Не смотрите на нее. а то я стану ревновать, – размякшим голосом тянет младший.

– Не бойтесь, хватить на обоих – на товарищеских началах поделимся, – цинично хохочет старший. – девка, право же, стоить того, чтобы позаняться ею, н-да!

– А старую ведьму куда вы денете? Красавица, как видите, приклеена к ней.

– Пойдите! У меня есть предписание проконтролировать паспорта и сделать поголовный обыск на первой же остановке. Вы убедитесь сами, что за блестящая идея пришла мне в голову.

– Вы всегда были гениально изобретательны, господин обер-лейтенант, я это знаю...

– Ну, ну, друг мой, не льстите! Это не изменить дела. Говорю вам: если красотка пришлась и вам по вкусу, дело в шляпе – она наша.

– Как так?

– А вот увидите, дайте время!

Голоса этих офицеров, пониженные до шепота, не слышны ни в купе, ни в группе солдат, занявших коридор этого отделения, но масляные взгляды обоих все смелее и настойчивее останавливаются на Китти. Эти взгляды заставляют каждый раз девушку вздрагивать, она уже заметила их. Какое-то темное предчувствие вползает ей в душу, становится страш-

но, мучительно страшно от этих взглядов.

А поезд, хотя и медленно, все-таки подвигается вперед.

Глава V

Поезд все двигается тихо-тихо, почти ползет. Женщины и дети чуть живы от духоты и тесноты.

– Пить, мама, я хочу пить, – лепечет хорошенький еврейский мальчик, и глаза его глядят с мольбою. Больная, едва держащаяся на ногах, молодая дама которой всего неделю назад сделали сложную операцию в Берлине, говорить, страдальчески изгибая брови:

– Я знаю... О, я знаю... Мне не доехать до Петербурга, я умру...

Две совсем юные девушки, едущие со стариком-отцом из Киссингена, волнуясь хлопочут около стаи почувствовавшего себя дурно.

– Ради Бога каплею или нашатырного спирта! У кого, господа, есть нашатырный спирт? – молят чуть не со слезами они. – И откройте окно, ради Бога! Нашему отцу дурно... Это от духоты, – растерянно лепечут они.

– Ни с места! – пьяным голосом орет из коридора офицер с лицом из папье-маше. – Руки прочь! Каждый, кто подойдет к окну, будет расстрелян.

Вдруг поезд останавливается сразу. За спущенными занавесками нельзя узнать, где стоит он: у станции или среди поля.

– Это – Кенигсберг? – осведомляется кто-то у солдат, рас-

положившихся в коридоре.

– Нет, ваш Петербурга, он самый! Ха-ха-ха! Что не верите разве? – грубо гогочет в ответ обер-лейтенант.

Лица начальника караула и другого офицера принимают злобное выражение.

– Всем выходить! Живо! Ну же, шевелитесь! Нам некогда! Марш! – кричит первый и, взбрасывая стеклышко монокля в глаз, уже не отрываясь смотрит теперь поверх других голов прямо в лицо Китти.

В тщательно прилизанной на пробор голове немца одурманенной винными парами, медленно шевелятся мысля.

«Как однако бледна эта бедняжка!.. Но кто этот молодец, что наклоняется к ней и предлагает руку старой даме? Что он говорить? Кто он ей? Муж, жених, брат или просто случайный попутчик-знакомый? Кто поймет этот варварский язык? Во всяком случае, кто бы ни был этот молодчик, он может помешать делу. Надо принять свои меры».

– Господин лейтенант! – кричит старший офицер младшему, с которым непринужденно болтал до этой минуты в коридоре, – вы отделите мужчин от женщин. У меня есть предписание высшего начальства обыскать всех пассажиров. Получено известие, что с этим поездом едут переодетые в женское платье шпионы.

Он кричит это на все отделение, непринужденно и громко, по-немецки, но пассажиры прекрасно поняли его слова. Среди них начинается паника; когда же ретивый лейтенант

обращается уже непосредственно к оторопевшей и испуганной до полусмерти публике, сбившейся, как стадо, в одну кучку: «Вон из вагонов! Вы слышите? Живо! Марш!» – начинается отчаянная давка, сопровождаемая всхлипываниями женщин и детским плачем.

– Боже мой! Да что же они хотят от нас наконец? – с тоскою шепчут губы Китти, помогающей Мансурову выводить из вагона мать.

Тот упорно молчит. Его зубы сжаты, сильные руки поддерживают почти бесчувственную, с восковым, как у покойницы, лицом, Софью Ивановну; только нервно двигаются его худощавые скулы да мрачно горят темные глаза. С трудом выбираются они на платформу.

Поезд стоит у какой-то станции. Какой-то городок; каменные здания, старинный узкие улицы, то бегущие вверх в гору, то низвергающиеся в ложбину. На вершине холма, расположенного в центре города, живописно высится не то замок, не то крепость.

– Вон из вагонов! Вас не повезут дальше. Поезда через границу нет. На Штеттин тоже нет поезда, и все вы объявлены военнопленными, – зловеще проносится по вагонам и платформе.

Это новое известие, подобно грому небесному, раздражается над несчастными путешественниками. Слышатся крики отчаяния, мольбы, истерики, слезы. Кому-то из женщин сделалось дурно, кто-то со смертельным криком ужаса грох-

нулся оземь.

Между тем солдаты поездного караула не теряют времени даром. Они грубо, прикладами выталкивают медлящую выходить из вагонов на перрон публику, не щадя ни возраста, ни пола. Целый лес штыков выстроился на платформе.

С другой стороны платформы стоит поезд, отправляющийся на Берлин. В нем едут запасные; они все поголовно пьяны и орут песни, высовываясь из окон.

Из того же поезда, из вагона первого класса, выходят два офицера. Около штабного полковника, одетого с иголки в блестящий мундир, вертится красивый белокурый офицер с фигурой атлета, тоже из штаба, с портфелем под мышкой. Они оба очевидно заинтересовываются «военнопленными» и подходят, чтобы взглянуть поближе на «русских дикарей». Последние уже все на платформе и оцеплены стеною штыков. Вдруг неистовый обер-лейтенант, играя стеклышком, снова кричит:

– Женщины в вагон! Мужчины в ревизионную!

Снова начинается давка. Толпа, только что с трудом вылезшая из вагонов и состоящая по большей части из больных женщин, стариков и детей, должна снова протискиваться назад, в свои купе.

– Но это Бог знает что такое! Ведь это же – издевательство наконец. Так не поступают порядочные люди! – громко кричит Мансуров, пробивая себе дорогу к неистовствующему обер-лейтенанту.

Но тот уже в вагоне.

Борис бросается за ним следом, но солдат грубо отталкивает его от двери и, направляя на него лезвие штыка, кричит: – Куда? Или оглохли? Сказано, оставаться здесь.

Поддерживая мать, Китти, с трудом передвигая ноги, входит в купе. С ними входит еврейка со своим сынишкой, не перестающим плакать от жажды, и две юные дочери больного старика. За ними тянутся другие пассажиры с испуганными, взволнованными лицами, встревоженные за участь оставшихся на перроне мужчин.

Неожиданно на пороге того купе, куда снова вернулись мать и дочь Бонч-Старнаковские, появляется знакомая фигура в каске со стеклышком в глазу – обер-лейтенант, главный конвоир этого поезда. Из-за его спины выглядывает его младший товарищ. Отчеканивая каждое слово, старший офицер говорить:

– Нам известно, что здесь, в этом именно купе, среди женщин скрывается переодетый мужчина-шпион. С целью обнаружить его, нам предписано произвести строжайший осмотр.

Пассажирки со страхом оглядываются.

Тут глаз под моноклем, обежав лица присутствующих в купе женщин, внезапно останавливается на лице Китти.

– Не угодно ли вам будет, фрейлейн, пройти в соседнее купе? – бесстрастно роняет хриплый, деревянный голос.

– Что? Почему? Я не понимаю причины, – лепечут чуть

слышно совсем белые от волнения губы девушки.

Легкий крик срывается у кого-то – крик испуга, протеста, ужаса.

Китти заметно бледнеет; теперь нет ни кровинки в её измученном лице. Она взглядывает на мать, как бы ища поддержки.

Софья Ивановна сейчас почти страшна. Её глаза, округленные ужасом, глядят, как у безумной; пальцы судорожно вцепились в руку дочери, и она твердить одно и то же, одно и то же несколько раз под ряд:

– *Gehen Sie weg!* Я не пушу с вами моей дочери... *Gehen Sie weg!*⁹

– А я, сударыня, не уйду без барышни. Мне необходимо произвести тщательный осмотр. Ваша дочь более, чем кто-либо, судя по её внешнему виду, – тут вооруженный моноклем глаз с циничной откровенностью останавливается на гибкой, высокой и тонкой, как у мальчика, фигуре Китти, – подходить к объекту нашего подозрения. Ну-с, фрейлейн, не угодно ли вам будет следовать за мною? Не извольте задерживать остальных.

– Нет, я не пойду. У нас есть паспорта... Мама, покажите паспорт. Вот, вы убедитесь, я – дочь тайного советника Бонч-Старнаковского, и ни о каком шпионе, как видите, здесь не может быть и речи, – гордо произносить Китти, окидывая пруссака взглядом, полным презрения, и протягивая

⁹ Уходите прочь! (нем.)

ему паспортную книжку.

Офицер мельком кидает на нее взгляд и говорить снова:

– Упрямство не приведет ни к чему, уверяю вас, фрейлейн. За нас закон и сила, примите это к сведению, и, чего бы нам это ни стоило, вас все равно обыщут и разденут догола.

– Что?

Отчаянный крик вырывается из груди Бонч-Старнаковской. Софья Ивановна вдруг слабеет, выпускает руку дочери и, обессиленная, лишившаяся чувств, валится на подушки дивана.

Прусский офицер как будто только и ждал этого момента. Он стремительно кидается вперед, схватывает Китти за руку и тащить ее за собою в коридор.

– Борис! – неожиданно громко и отчаянно кричит девушка. – Сюда, Борис! Ко мне, ради Бога!

Все последующее произошло так быстро, что вряд ли кто из присутствующих мог дать себе ясный отчет в том, что случилось: как откуда-то появился смуглый, с горящими глазами, в дорожном пальто, молодой человек, Бог весть каким образом пробившийся в вагон с платформы через цепь караульных. Опомнились лишь тогда, когда обер-лейтенант, как-то нелепо взмахну в воздухе руками и ногами, был отброшен в сторону и вырвавшаяся из его рук Китти рыдала на груди подоспевшего Мансурова.

– Голубка моя, успокойся! Родная моя!.. Этот негодяй не посмеет тронуть тебя, – говорить он, обвивая рукой вздра-

гивающие плечи невесты.

Но «негодяй» уже успел оправиться, вскочить на ноги, по-добрать и снова водрузить выскочивший из глаза монокль, и теперь, сжимая кулаки, багровый от ярости, подступал к Борису.

– Так-то? Бунт? Бунт и вмешательство в распоряжения высшего начальства? Взять его! Живо! И в крепость, на военный суд... На расстрел!

Едва успел прокричать эти слова резкий, как-то сразу протрезвевший голос, как солдаты бросились к Борису, схватили его и, вырвав из объятий рыдающей Китти, потащили из вагона. Обер-лейтенант, по-прежнему взбешенный и багровый, бросился за ними.

– Расстрелять! Расстрелять! Расстрелять! – бессмысленно повторял он, жестикулируя, словно в забытьи, и вдруг смущенно осекся, увидев в двух шагах от себя блестящих штабных офицеров, приблизившихся к вагону.

– Что это у вас за пикантное происшествие, господин обер-лейтенант? – с любезной улыбкой осведомился старший из них – полковник.

Обер-лейтенант смутился.

– Один из русских военнопленных взбунтовался, господин полковник, и подлежит расстрелу. Это необходимо для острастки и в назидание другим, – несколько смущенно поясняет начальник караула.

– А причина такого бунта? – осведомляется все с такой же

любезной улыбкой полковник.

– О, самая пустая: мы ищем переодетых шпионов; у нас есть предписание на этот предмет. Нашлась подозрительная по виду девушка, ее хотели обыскать, а этот бездельник вмешался и едва не оскорбил меня действием.

– А эта девушка действительно разве?.. Как её фамилия? – допытывается движимый любопытством полковник.

– Какая-то Бонч-Старнаковская или что-то в этом роде. Ужасные фамилии у этих варваров!.. Язык на них проглотить.

– Бонч-Старнаковская? Что? – и лицо младшего штабного офицера сразу меняется. – Послушайте, господин обер-лейтенант, – говорить он, с трудом скрывая охватившее его волнение, – вы не ошибаетесь? Фамилия этой... Этой девушки действительно Бонч-Старнаковская?

– Да. А почему эта фамилия так заинтересовала вас, господин лейтенант?

Но белокурый, с фигурой атлета, офицер молчит, как бы не слыша вопроса, и вдруг густо краснеет.

– Я должен сопровождать господина полковника в Берлин с докладом, но к вечеру буду обратно, – говорить он тихо и внушительно, – и должен буду переговорить с вами. Куда вы думаете поместить военнопленных, господин обер-лейтенант?

– У меня на это нет особых инструкций. Старые провиантские сараи пусты, а также городская скотобойня. Думаю, по-

следняя подойдет больше нашим гостям. Ха-ха-ха! – и, чрезвычайно довольный своей тяжеловесной остротой, обер-лейтенант грубо смеется.

Штабные невольно морщатся. Непринужденность и грубость этого армейца шокируют их.

– Во всяком случае будьте добры разрешить мне пропуск в место их заключения, – прикладывая руку к козырьку, вежливо просит обер-лейтенанта лейтенант штаба.

– Очень охотно. Честь имею кланяться, господа.

Армеец откланивается и, повернувшись по-солдатски, идет вдогонку за конвойными, уводящими Бориса.

– Вы разве знакомы с этою... этою Бонч-Старнаковскою? Почему она так заинтересовала вас? – осведомляется полковник у своего спутника, когда они снова заняли места в поезде, увозившем их в Берлин.

– Я их всех знаю – всех этих Бонч-Старнаковских, всю семью, – уклончиво отвечает белокурый лейтенант, – знаю еще со времени своего пребывания в России.

Полковник Шольц взглядывает на своего спутника, и что-то неуловимое мелькает в его широком, выхоленном лице, типичном лице прусского офицера.

– Надеюсь, Штейнберг, эта особа не принадлежать к числу героинь какого-нибудь эротического эпизода из вашего прошлого? – чуть насмешливо осведомляется он.

– О, нет! Я – слишком человек дела, господин полковник, – звякнув шпорами и выставляя вперед и без того

высокую грудь, отвечает знакомый уже читателю Рудольф Штейнберг, – да, слишком человек дела, чтобы позволять себе какие-либо развлечения в этом направлении.

– Но вы еще молоды, мой друг... Бессовестно молоды, Штейнберг.

– Что значить быть молодым, господин полковник? Я – прежде всего солдат. Император и родина – мой девиз, любовь к последней – мое чувство, моя страсть. И я кажется, доказал уже это. Я с особенным восторгом работал в то время, когда другие молодые люди моего возраста увлекались кутежами и женщинами. Вам известно, господин полковник, что если бы русские каким либо образом открыли мои работы на их территории, то меня захватили бы, как шпиона. Но я менее всего думал об этом, когда...

– Ваши услуги, принесенные родине, незаменимы, господин лейтенант, – прерывает его полковник, – и граф Н. уже сделал соответствующий о вас доклад его величеству. Вы можете ждать нового и прекрасного назначения, Штейнберг. Такие верные слуги, как вы, не забываются нашим императором, и его величество не замедлит отличить вас.

– Благодарю вас за похвалы и заботы обо мне, господин полковник, – говорить Рудольф.

Но мысли его далеко, в оставшемся на станции поезде, где (он был убежден в этом теперь) находилась Китти.

И все эти мысли сводятся теперь к одной: он съездит в Берлин, отвезет в канцелярию главного штаба порученные

ему бумаги, сделает доклад генералу, затем вернется сюда, в свой город, где находится его отделение штаба, разыщет Китти, а там... Но о дальнейшем он не думает. Вся кровь, обычно холодная кровь тевтона, закипает у него в жилах, как только он представляет себе встречу с Китти. Злоба, ненависть, бешенство, доведенное до пределов утонченности, при одной мысли об этом мутят его мозг. Его щеки как будто снова загораются от пощечины, полученной им от гордой девушки шесть лет тому назад, и это оскорбление совмещается с другим, едва ли не горшим, которым оскорбил его старый Бонч-Старнаковский всего три недели тому назад.

«Мстить... мстить им обоим... Мстить им всем без исключения... Уничтожить, растоптать их, стереть в порошок!.. Оскорбить вдвое сильнее и мучительнее!» – вот к чему стремятся отныне все мысли, все необузданные желания Рудольфа Штейнберга.

И ему кажется среди его лихорадки бешенства и злобных представлений, что поезд тащится убийственно медленно, что Берлин еще далеко и что он не успеет к ночи вернуться в свой город, куда так кстати забросила беззащитную Китти капризная и неожиданная своими прихотями судьба.

Глава VI

- Боже Милосердный! Как будто не будет конца этой ужасной ночи. А
- Эти изверги, злодеи хорошо знают, что делать! В этом ужасном сарае нечем дышать.
- Мама, мамочка... Я голоден, мне хочется кушать.
- Подожди, деточка, потерпи, милый! Когда рассветет, нас выпустят и накормят. Вот увидишь, накормят. А пока, родненький, потерпи.
- Воды... Хотя бы глоток воды!.. Я умираю от жажды.
- А правда, что, когда нас гнали сюда, упал на землю ребенок и, кажется, умер?
- Увы! Его мать сошла с ума, и ее отправили в больницу.
- Как душно, как душно!.. Господи! Легче умереть.
- Да, действительно, легче умереть. всю эту огромную толпу «военнопленных», как громко величали немецкие варвары мирных путешественников, застигнутых на враждебной территории объявлением войны, загнали в большой сарай городской скотобойни. На осклизлом от крови полу, где еще кое-где оставались запекшиеся кровавые лепешки и внутренности животных, недостаточно аккуратно прибранные после последнего убоя, мужчины разостлали верхние одежды и предложили разместиться на них женщинам и детям. Но далеко не все были так счастливы, далеко не всем уда-

лось так устроиться, найти себе место. Большая часть этих несчастных осталась стоять на ногах. Воздух сарая, душный, спертый, весь пропитанный отвратительным запахом разложения, кружил голову, вызывая тошноту. Голод, жажда, усталое и страх за завтрашний день дополняли нравственный ад переживаемый пленниками. Несколько более слабых женщин лишились чувству, но продолжали стоять с помертвевшими лицами, со стеклянными, ничего не выражающие глазами, стоять потому только, что им некуда было упасть.

Их дети, голодные, испуганный до полусмерти, с плачем звали матерей. Мужчины крепились и, как могли, успокаивали женщин и ребятишек.

– Не волнуйтесь, потерпите как-нибудь до утра! Нас выпустят и повезут дальше. Не может быть, чтобы нас... Нет смысла расстреливать нас... Они только хотели попугать и в сущности расстреливать никогда не будут, – слышались более спокойные, трезвые голоса.

– Нет, одного из нас расстреляют. И это не подлежит сомнению: он оскорбил офицера. Немцы озлоблены, как звери; они придираются ко всему.

– Тише, ради Бога тише!.. Тут близко около нас кажется, его невеста.

– Бедняжка! Каково-то ей!

– Её мать точно помешалась. Сидит, молчит, смотрит в одну точку и бормочет одно и то же: «Не пущу... Не пущу... Не пущу». Должно быть, старуха тоже сошла с ума.

– Ужас! Ужас!

* * *

Какая ночь!

Минутами Китти кажется, что это – только сон, дикий, кошмарный, но все же сон. И этот темный, едва освещенный фонариками сарай, весь пропитанный зловонием, и эта жутко копошащаяся в полутьме толпа заключенных, и то, что взяли и увезли в тюрьму Бориса, – тоже сон. Ей сказали, что Мансурова расстреляют утром, что и всех их расстреляют, всех – и женщин, и стариков, и детей. Ах, это было бы лучшее из всего, что может случиться!

Смерть – забвение, смерть – избавление от всех тревог, мучений и бед. Борис, милый, желанный, – рыцарь чести и рыцарь духа. Он не мог поступить иначе, не мог не заступиться за нее и за это погибает, за это будет расстрелян. Нет, она не хочет жить без Бориса... Но мать? Что ей делать с матерью? На кого оставить старуху? И почему она стала вдруг такая? Почему все время держит ее за руку, не отпускает и дрожит мелкой дрожью, бормоча одно и то же слово: «Не пущу», «не пущу», «не пущу»? Какое у неё лицо при этом! Какие глаза! Китти смотрит с минуту в странное, желтое лицо с остановившимися глазами, и вдруг смутная догадка пронзает её мозг:

«Сошла с ума? Что, если она сошла с ума от испуга, от

горя?»

Сердце девушки холодеет. Она бережно принимает ледяные руки матери в свои, подносить их к губам, отогревает своим дыханием и шепчет:

– Мамочка, дорогая, успокойтесь! Голубушка-мама, все пройдет, все переменится. Господь милостив. Вот увидите, дорогая!

– Не пуцу, не пуцу, не пуцу! – твердить все свое старуха, и сильнее впиваются её пальцы в нежные руки Дочери.

И опять это лицо, похожее на желтую восковую маску, и неподвижные, странные и страшные в своем мертвом спокойствии глаза.

Волна отчаяния захлестывает Китти., Сердце сжимается в комочек. Ужасу её нет границ.

«А Бориса, может быть, уже нет на свете... Его уже убили, расстреляли... он мертв», – мелькает жуткая мысль.

Напряженные нервы не выдерживают. Странный, Бог весть откуда взявшийся, туман заволакивает все помещение сарая. Китти запрокидывает голову и точно пьет этот туман, это зловоние. И уже больше ничего не слышит: ни детского плача, ни женского всхлипывания, ни мрачных предположений о завтрашнем дне. Она – как мертвая, она – без чувств.

Китти продолжает ничего не видеть и не слышать еще и тогда, когда открывается дверь сарая и несколько караульных, в сопровождении двух офицеров, останавливаются у порога.

– Кто здесь из вас Бонч-Старнаковская? – кричит громкий, привыкший к командованию на плацу, голос.

Он доходит до сознания Софьи Ивановны, заставляет ее дрожать сильнее и склониться к дочери.

– Китти, – шепчет она, пугливо косясь на дверь, – Китти, деточка, опять нас зовут... Не пуцу, не пуцу! Хоть убей! – и старуха в страстном приступе отчаяния изо всех сил прижимает к себе дочь.

Та медленно открывает отяжелевшие веки. Сноп света падает ей прямо в лицо.

– Бонч-Старнаковская кто из вас? Черт возьми, возись еще с ними! – ворчит полупьяный солдат, проходя мимо Китти и наступая на груды тел, расположенных на полу в полном оцепенении и бессилии усталости.

– Боже мой! – восклицает Китти. – Что еще надо? Бонч-Старнаковские – это мы.

– Вы? Так бы и говорили раньше! – все еще ворчит длинноносый прусский унтер и поднимает свой фонарь в уровень с лицом девушки, но тотчас же опускает руку, выпучив от неожиданности глаза.

Вот так красавица! Такой он еще и не видывал, старина Франц. Немудрено, что обер-лейтенант из-за такой красотишки едва не нарвался на оплеуху, а того русского расстреляют поутру. Н-да... Бывают же такие лица!

Красота – этот высший дар богов – имеет власть, подобную царской, и ей подчиняются невольно, часто помимо же-

лания, только во имя красоты. И сейчас простодушный унтер с ошалелым видом и выпученными глазами смотрит в лицо Китти.

– Вы – Бонч-Старнаковская? – после долгой паузы спрашивает он еще раз. – Если так, то идите... Да захватите с собой мать. Ведь эта старая дама – ваша мать?

– Но куда? Куда опять, ради Бога?

– Придете – увидите. Некогда тут разговаривать да терять время даром! – и пруссак, рассерженный за свою минутную впечатлительность, старается грубостью исправить свою оплошность.

Едва находя возможность не наступать на расположившихся на полу путешественников – взрослых и детей, – похожих сейчас на трупы, Китти с матерью медленно подвигается к выходу. Девушка смотрит себе под ноги, осторожно нащупывая дорогу. Пруссак не смущаясь идет напрямик, наступая на живых, как на мертвых. И стоны, и крики как будто не доходят до его слуха.

Вдруг Китти останавливается пораженная. На пороге сарая стоит знакомая фигура. Хорошо знакомое лицо, красивые, несколько грубые черты; только непривычное военное платье приводит в смущение девушку. Но платье – это вздор. Тем не менее это – он, он несомненно; это – его выпуклые глаза, подстриженные усы, богатырские плечи.

– Рудольф! Это – вы, Рудольф? Боже мой, как я рада! Мама, очнитесь! Ведь это – Рудольф Штейнберг, сын Августа

Карловича. Теперь мы спасены... Борис спасен. О, как я рада! Рудольф! Рудольф!

Китти лепечет все это, как безумная, и протягивает к нему обе дрожащие ручки, вся потрясенная, вся взволнованная и обрадованная.

Да, она счастлива встретить здесь хоть одного знакомого, одного заступника. Ведь как-никак, а долгие годы детства и юности, проведенные совместно, накладывают известные обязательства на людей. Китти забывает сейчас тот злосчастный случай, что окончательно разъединил их шесть лет тому назад, и то, что произошло после их отъезда, о чем писала им Муся. Все шероховатости, все темное и злое забыла в этот миг Китти и только, как гвоздь, сверлит её мозг единственная мысль:

«Рудольф – здешний и имеет здесь несомненное значение, как офицер прусского штаба. О, он не замедлит выручить нас».

Сейчас она держит его больше, сильные руки в своих маленьких и дрожащих и лепечет сквозь слезы, неудержимыми каплями одна за другой стекающие по её лицу.

– Рудольф! Славный, хороший Рудольф! Вы явились, как добрый гений, так неожиданно, так внезапно и так кстати, так поразительно кстати! Вышло недоразумение... Ужасное, роковое. Бориса взяли, повели в тюрьму, грозят ему расстрелом. Рудольф! Голубчик Рудольф! Но ведь этого не будет, не может быть? Скажите! Ведь Борис ни в чем неповинен. Меня

хотели оскорбить; он заступился. Но кто бы из вас не сделал того же? И неужели же рыцарский поступок можно карать смертью, как преступление? Нет, вы должны заступиться за Бориса, вы сделаете это, вы...

Рыдания мешают договорить девушке. Она вся сотрясается от них, её тонкая фигура вся трепещет. И, сама того не замечая, она, как цыпленок под крылышко наседки, припадает головой к груди Рудольфа Штейнберга и без удержу рыдает на ней.

Её пушистые золотые волосы сейчас как раз находятся под его губами; аромат их кружить ему голову, заставляет биться сильнее пульсы.

– Фрейлейн Китти, успокойтесь, все будет сделано. Я уже хлопотал за господина Мансурова – его вы пустят утром, и жизнь его в безопасности. А теперь, – не слушая того, что говорить ему обезумевшая от счастья Китти, продолжает он: – надеюсь, вы не откажете мне в чести провести эту ночь вместе с вашей матушкой под моим кровом. Как видите, сама судьба забросила вас в город, где я живу, и я безмерно счастлив, что могу предложить вам гостеприимство. Право же, как ни скромно жилище бедного прусского офицера, оно во всяком случае лучше этого ужасного сарая. Не правда ли, дорогая фрейлейн?

– О, благодарю вас, Рудольф, благодарю! Мамочка, вы слышите? Бориса выпустят завтра. А сейчас Рудольф – вы узнали его? – предлагает нам провести ночь у него в доме.

Ведь вы живете недалеко, Рудольф, нет?

Она похожа сейчас на растерявшегося от счастья ребенка.

– Что значит для нас расстояние, фрейлейн Китти? Я приехал сюда на казенном автомобиле и на нем же доставлю и вас с вашей матушкой, – любезно говорит Штейнберг и подает одну руку Китти, другую – Софье Ивановне, а затем осторожно, почтительно ведет их обеих к ожидающемуся на улице автомобилю.

Глава VII

Маленькая, состоящая всего из трех комнат, квартира: кабинет, столовая, спальня. Огромный портрет Вильгельма над письменным столом; издали бросаются в глаза знакомые всему миру усы и грозные брови. В столовой, при ярком освещении электрической лампы, особенно заманчивым кажется накрытый к ужину стол. Ветчина, нарезанная тонкими ломтиками, колбаса, сыр, молоко в граненом кувшине, торт, а на спиртовке – кофейник. Видно, что обо всем позаботилась опытная рука.

Теперь только, освободившись от всего пережитого в последние ужасные сутки, Китти чувствует, как она проголодалась и устала. Но запах кофе и вкусно приготовленный тартинки напоминают о естественном требовании природы – аппетите, и она садится за стол.

Выбежавший встречать их Фриц, старый знакомый Фриц, эта уютная холостая квартирка, радушие и гостеприимство молодого хозяина, – все это примиряет Китти с печальным сознанием того, что они находятся сейчас во враждебной стране. К тому же бесконечная радость завтрашней встречи с Борисом заставляет забывать все пережитые муки.

Правда, мать беспокоит ее: Софья Ивановна по-прежнему какая-то странная, инертная, молчаливая, ест только то, что ей кладут на тарелку.

Рудольф и Китти смотрят на нее испуганными, недоумевающими глазами.

– Мамочка, голубчик мой, вы, может быть, хотите уснуть? – нежным, ласковым голосом осведомляется девушка.

Старуха молчит. Что-то жуткое глядит из её глаз, не то предостерегающее, не то грозящее.

Китти вздрагивает.

– Голубушка, мама, вы разрешите мне проводить вас до кровати? Рудольф был так любезен, что уступил вам свою спальню. Пойдемте, родная, пора бай-бай.

Покончив с ужином и кофе, девушка осторожно обнимает мать и ведет ее в спальню хозяина дома. Старуха засыпает скоро. Китти наклоняется над нею, долго и тревожно смотрит ей в лицо, потом крестить мать, как ребенка, и на цыпочках выходить из комнаты, плотно притворив за собою дверь.

Ей самой постлано на широкой софе в кабинете хозяина. У оттоманки лежит пушистый ковер. Со стены надменно хмурится лицо Вильгельма. Китти проворно раздевается и как подкошенная валится на постель. Боже, как она устала, как мучительно устала!.. Она закидывает руки за голову и с наслаждением вытягивается на свежих простынях.

Бедный Борис! Как-то проводить он эту ночь? Милый, любимый!.. Что он переживает сейчас? Хорошо еще, что Рудольф повидался с ним и успокоил его относительно дальнейшего. Скорее бы прошла эта ночь!

Китти вызывает еще раз в памяти любимое смуглое лицо, темные глаза., энергичная губы, и улыбка сквозь слезы раздвигает её рот. Девушка так и засыпает с этой улыбкой.

* * *

Китти просыпается сразу, мгновенно, как будто от какого-то толчка, и сразу же садится на постель.

– Что такое? Борис? Мама? – роняют еще бессознательно её губы.

В комнате светло. Ярко горит электричество. Со стены по-прежнему надменно глядят суровые глаза немецкого императора. В изножье её ложа стоит Рудольф и пристально смотрит на нее.

– Что такое? С мамой что-нибудь? Да говорите же, говорите, не мучьте, ради Бога! – восклицает Китти.

Теперь уже сознание приходит к ней. Инстинктивным движением, полным стыдливой женственности, она натягивает сползшее с плеч одеяло. Но глаза Рудольфа следуют взглядом за каждым её движением. И вдруг цинично дерзкая улыбка раздвигает его губы.

Эта улыбка, этот красноречивый, полный жестокости, плотоядный взгляд сразу объясняют все Китти. И ужас, ужас застигнутой в горах диким хищником лани, заставляет девушку содрогнуться всем телом. Теперь её глаза с мольбой и страхом глядят в это самодовольное лицо.

– Что вам надо здесь, Рудольф? – находить она наконец в себе силы произнести коснеющим языком.

Штейнберг улыбается снова. Теперь еще более цинична и красноречива эта плотоядная, ужасная улыбка. С отвратительным спокойствием он говорит:

– Я пришел за наградой. Или вы этого не поняли?

Или вы думали, что такая ценная услуга, как спасение жизни любимого жениха, должна обойтись даром его невесте? Да и к тому же, если вы припомните, у нас с вами еще остались кое-какие неоплаченные счета, по которым пришло время уплатить.

– Что?

Теперь Китти окончательно поняла, зачем пришел к ней этот человек, чего он от неё хочет. В первое мгновение у неё является порыв закричать диким, животным, пронзительным криком. Но затем она сразу соображает: она беззащитна, одна в стане врагов. Конечно все те, кто сбежит на её крик, примут его сторону! Убить Рудольфа? Но чем? Он к тому же сильнее её.

Как бы в подтверждение этой мысли, Штейнберг неожиданно быстро, звериным, сильным жестом захватив обе её руки в одну свою, другой свободной рукою крепко и сильно прижимает ее к себе, к своей груди. Китти слабо вскрикивает; в её лице ужас.

– Борьба бесполезна... Сдавайтесь, фрейлейн! Малейшее упорство, и я донесу на господина Мансурова, как на шпи-

она. Без сомнения, поверят мне, а не вам. Вы видите ясно: его жизнь в моих руках.

– Рудольф! Рудольф! – стоном срывается с побелевших губ Китти.

– Что, бесценная фрейлейн Китти? Что? – хриплым голосом, едва выдавливая из себя слова, с потемневшими от желания глазами, говорить Штейнберг. – Не скажу, чтобы дела ваши были блестящи, н-да... Но будьте уверены, что я не из числа тех, кто подчеркивает свое превосходство. И хорошенькая женщина, а тем более такая красотка, как вы, фрейлейн, имеет все данные остаться довольной моей лаской. Что же вы не рветесь? Почему не протестуете, гордая Китти? Или поняли наконец всю бесполезность такого сопротивления? Ну, да, вы не ошиблись, фрейлейн. Помните то знаменательное утро и нашу встречу у пруда, мою попорченную чистую любовь, мои попорченные юношеские порывы? О, тогда я был глуп и любил вас, фрейлейн Китти! Теперь я поумнел и ненавижу вас. Слышите ли, ненавижу жгучей ненавистью тевтона и все же желаю вас, истую славянку, да, желаю вас, как рабу, как пленницу, как наложницу. Поняли?

– О, подлец, подлец! Я убью себя, если вы осмелитесь ко мне прикоснуться, или... – шепчет Китти и бьется в его руках.

Штейнберг хрипло хохочет, как пьяный, охваченный весь порывом одного необузданного желания.

– Не думаешь ли ты напугать меня? Перестань, дурочка!

Ха-ха-ха!

Лицо Китти, искаженное ужасом, сейчас теряет всю свою красоту. Рот широко раскрыт, готовый исторгнуть из себя истерический вопль. Глаза округлились, щеки белы до синевы. Но это исковерканное паническим ужасом лицо не останавливает его, не расхолаживает порыва животной чувственности, вихрем ворвавшейся в его тело, в его жилы холодной, сознательной чувственности, ничего общего не имеющей со страстью. И так как она все еще силится оттолкнуть его, то он грубо бросает ее на подушки.

– Молчать! И повиноваться мне беспрекословно! Слышишь? – хрипит у самого её уха страшный голос.

* * *

За белые шторы пробивается уже июльский рассвет, когда Рудольф Штейнберг выходит из своего кабинета. В дверях он останавливается и спокойно, нагло глядит на находящуюся в полуобмороке Китти.

– Через несколько часов господин Мансуров будет здесь, – бросает он. – Приготовьтесь встретить его. Что же касается меня, то мне более ничего от вас не надо, фрейлейн! – и Штейнберг исчезает за дверью.

Часть третья

Глава I

Сентябрь. Тихие и грустные, как увядшие грезы, падают умирая сухие листья. Серое небо бледно, как призрак чего-то далекого, когда-то яркого, когда-то молодого. Короткие дни, пронизанные дождем, истерзанные ветром, чередуются один за другим. Бесконечно длинные тянутся ночи. Деревья, обнажающиеся постепенно, еще разноцветны, еще пестры и красивы. Неподражаемы эти оттенки багровых и желтых цветов. Внизу на дорогах, в лесу, в роще и в аллеях барского сада их намело целый ковер. Жесткий, высохший, шуршащий, он кажется живым движущимся телом, когда по пестрой его поверхности пробежит ветерок. Меланхоличен этот шум сухих листьев. Он говорит о смерти, о давно погибших, а еще недавно пламенных надеждах, о ярких мечтах. И эти порывы пронизанного дождем ветра зловещи.

Весь август был прекрасен, золотой, алый, обвеянный солнцем. Теперь, в последние дни, погода круто изменилась к худшему. Барометр упал, пошли дожди, стало холодно, сыро.

Но в Отрадном как будто и не замечают этой непогоды. Здесь своя буря, своя тоска. Как будто дождевой туман, об-

волакивающий окрестности, вошел и в самую жизнь находящихся здесь немногих людей. Эта жизнь здесь замерла, застыла. словно тяжелые свинцовые тучи, собравшиеся на небе, надавили своей тяжестью на этот маленький уголок земли. Какая-то глубокая, как осенняя ночь, темная тайна спряталась тут, под завесой глубокого молчания, и все же, помимо желания, прорывалась наружу. Она как будто скользила из-под навеса пестро и причудливо разукрашенных рукою осени деревьев, из царящей тишины в доме, из-под ресниц девушек с тихими, бледными лицами, бродивших по большому старинному дому, из-за тусклой, облупившейся позолоты рам старинных прадедовских портретов, – глядела зловещая и словно угрожающая кому-то.

Сам Владимир Павлович, старый хозяин дома, уже давно был в Петрограде. Лихорадочная работа в министерстве требовала его безотлучного присутствия там. Полк, где служил Анатолий, находился на театре военных действий с самого начала войны; его позиции были теперь сравнительно неподалеку от Отрадного, и здесь ждали молодого хозяина со дня на день, так как он неоднократно писал, что должен отвезти от командира поручение в Варшаву и заедет домой на обратном пути. Больше месяца тому назад сюда вернулись заграничные путешественники: Софья Ивановна, Китти, Мансуров. Последний, доставив круговым путем, через Швецию и Финляндию, свою невесту и будущую тещу, поспешил на место службы в губернский город. Что же касает-

ся остальных членов семьи, то старик Бонч-Старнаковский тщетно слал письмо за письмом из Петрограда в Отрадное, прося детей поторопиться с переездом в столицу. На семейном тесном совещании это возвращение было до поры, до времени отклонено.

Софья Ивановна, несмотря на все принятые докторами меры, все еще не приходила в себя. Ужасы, пережитые по милости немцев в пути, не прошли даром больной женщине: она, по общему отзыву врачей, лишилась рассудка.

Все надежды Китти и Мансурова на то, что знакомая обстановка, встреча с мужем в Петрограде восстановят сознание несчастной, исчезли, разлетелись, как дым: Софья Ивановна так и не узнала ни мужа, ни города, ни своей квартиры. Она все рвалась куда-то, все спешила и волновалась, не имея ни минуты покоя.

– Ее надо везти немедленно в Отрадное. Заедет Анатолий, она увидит Веру, Мусю, и, может быть, узнает их и отойдет.

Так думал муж, так думала Китти.

Но и в Отрадном сознание не вернулось к больной. Правда, она успокоилась в тишине и покое, однако страшная машина разрушения продолжала медленно, но верно делать свое дело. Рассудок Софьи Ивановны спал, сознание не возвращалось. Она не узнала младших дочерей и никого не желала видеть, кроме Китти, и постоянно, деспотически, требовала её присутствия при себе. Но при каждом новом появлении девушки она непременно приходила в волнение: кри-

чала, стонала и плакала, непрерывно повторяя одно только слово: «Не пущу! Не пущу! Не пущу!» – и не выпускала дочери из объятий.

Безумие матери решили скрыть от всего мира; они все еще не теряли надежды на её выздоровление. Под величайшей тайною выписали они светило медицинского мира из столицы, профессора-психиатра. Он установил диагноз и режим лечения, но мало отрадного услышали от него: Софья Ивановна была почти безнадежна. Доктора советовали поместить ее в лечебницу, везти в Петроград. Но дочери все еще не решались сделать это: они все еще ждали исцеления и хватались за последний якорь спасения – за приезд Анатолия. Где-то в тайниках их душ гнездилась слабая уверенность в том, что страстно любимый матерью сын, может стать, одним своим появлением пробудить заснувшую память душевнобольной.

А письма из Петрограда все летели и летели с призывами. Муся должна была ехать в институт – учебный год давно начался. Но девушка все еще медлила здесь, все ждала. Ждала вместе с ними и Зина Ланская, сроднившаяся в дни горя со своими юными родственницами.

Ждала и Варя Карташева, самоотверженная, закадычная подруга Муси. Пять молодых существ с замиранием сердца прислушивались теперь из своего тихого уголка к явлениям потустороннего мира.

Эти явления были могучи и грозны. Кровавый пожар вой-

ны уже пылал. Казалось, его чадом и гарью захватило большую половину Европы. Человек, совместивший в себе безумие и наглость, человек, возомнивший себя гением, подобным Наполеону, обуреваемый честолюбивыми грезами, делал один шаг безумнее другого.

Уже пылали форты Льежа; пруссаки, позорно нарушившие нейтралитет Бельгии, предавали уничтожению пядь за пядью эту прекрасную, цветущую страну. Уже погибли в огне классические сокровища Лувэна. Уже французская армия отступала к сердцу страны, Парижу, под натиском германских орд. Наши города: Ченстохов, Калишь и Кельцы, ближайшие к границе, уже сделались добычей германских мародеров, покрывших несмываемым позором свои головы среди разгрома этих неукрепленных городов.

А в Отрадном все еще жили... Жили одни женщины, надеясь на «последнее средство».

Да и нельзя было тронуться отсюда теперь. Припадки Софьи Ивановны все учащались; эффекты безумия повторялись почти ежедневно. Рискованно было теперь везти большую. К тому же о том, что непрошенные гости могли проникнуть в Отрадное, никто даже и не думал. Имение Бонч-Старнаковских лежало совсем в стороне. От большого губернского города сюда надо было проехать около ста верст по железной дороге да двадцать пять верст, свернув в сторону, – на лошадях. Правда, в пятнадцати верстах отсюда лежала крепость, казавшаяся неприступной в виду её укреп-

ленности и естественных преград. В силу всего этого обитательницы Отрадного могли быть вполне спокойны – вряд ли сюда мог забрести даже случайный отряд врагов. К тому же здесь было как-то легче теперь, чем в Петрограде, переживать семейное несчастье, легче замкнуться в своем горе, не показывать его людям, хоронить в себе, вдали от расспросов и соболезнований бесчисленных друзей и знакомых.

Глава II

– Я не могу больше! Что с мамой? Что с Китти? Что случилось со всеми нами наконец? Почему она такая. Китти? И Вера тоже? Но особенно Китти: она вся точно не живая как-кая-то... Варюша, совесть моя, объясни ты мне все это, ради Бога! Я ровно ничего не понимаю! Объясни!

– И не надо понимать, Мусик. Все ясно и так. Разве ты не видишь, как плоха ваша мама? Бедный Мусик! Бедная детка! Ты не поверишь, как мне тяжело ваше горе, как мне жаль вас всех!

– Не надо жалеть, Варя, не надо. Нет ничего хуже, как вызывать жалость в людях, быть объектом жалости – в этом что-то позорное.

– Не обижайся! Это – хорошая жалость, деточка.

И «Мусина совесть», как прозвали в семье Бонч-Старнаковских серьезную, бесцветную, но бесконечно милую Варю за то, что ей одной поверяла Муся свои маленькие тайны, оставляя за нею единственное право осуждать и разбирать её поступки, – эта самая «Мусина совесть» нежно привлекает к себе девочку и нежно целует ее.

Муся плачет. У неё давно накопились слезы, по она сдерживала их из гордости пред сестрами, пока могла, пока имела силы. Здесь же, один на один с «её советью» – милой Варей – она не станет лгать, притворяться, играть комедию... о,

нет! Она так устала, так мучительно устала во все это время! Ужасная война разрывает ей сердце, сверлить голову, мутить мозг.

Каждое утро Демка-почтарь, помощник кучера, мчится на Гнедке на станцию и привозит свежие газеты, местные варшавские и далекие столичные. Последние опаздывают; их известия приходят не в срок, их ждут днями. Вся жизнь теперь сводится к одной цели: прочесть, узнать, что там, на театре войны.

Огромный котел политической жизни кипит и бурлит без передышки. Пылает алым заревом, все разгораясь и разгораясь, ужасный пожар. Зверства немцев заставляют холодеть сердца, застывать кровь в жилах. Не говоря уже о том, что они делали с русскими, как мучили их – застигнутых войной заграницей женщин, стариков, детей, – наглядным доказательством их зверств являлось внезапное сумасшествие их матери. И таких несчастных насчитывалось теперь немало. А девушки и женщины Бельгии, изнасилованный, истерзанный, с отрезанными грудями? А мирное население, расстреливаемое тысячами этими варварами? А Калиш и Ченстохов с их невинно казненными обывателями и разрушенными домами? А казаки, которых они берут в плен и подвергают пытке?

Муся и Варя говорят обо всем этом, дрожа всем телом, кутаясь в один теплый пуховый платок. Они обе сидят, тесно прижавшись одна к другой, на скамейке у пруда, на той

самой скамейке, где Муся дала «адский отпор» «любимцу публики».

Как сравнительно давно и как между тем недавно это было: их спектакль, бал, гирлянды цветов, фонариков, страстные взгляды Думцева! Немного времени прошло с тех пор, а кажется – будто целая вечность. Ужасная война вертит колеса жизни с потрясающей быстротой и оставшееся за ними «вчера» уже кажется далеким, давно прошедшим, – такая гряда событий встает; между ним и сегодняшним днем.

Муся молчит и тихо плачет; Варя ласково гладит и ее по голове. Минуту царить полная тишина. Дождь перестал, и только редкие капли его тяжело падают на землю с деревьев при каждом порыве ветра.

– Муся!.. Мусенок милый, перестань, что ты! – своим ласковым шепотом снова утешает подругу Карташова.

Вдруг Муся поднимает голову, и голосок у неё страстно звенит:

– Я не могу! Пойми, я не могу больше, Варюша! Какая тоска, какой гнет! Ты подумай только: мама сейчас – ужас один какая. Я не могу ходить к ней, не в силах смотреть на нее. Какая это мучительная казнь – безумие, Варюша!.. По моему, лучше смерть. А тут еще Вера придирается и злится целые дни. Она стала даже несноснее Маргариты, и при ней совсем нельзя говорить о немцах и об их зверствах. Она находить, что все это пре-у-ве-личено... Преувеличено! А? Да ведь мы-то знаем, что не только их воюющие, но и женщи-

ны... Женщины, сестры милосердия – подумай, какой ужас, Варюша! – их сестры перерезывают горло нашим раненым. О, Господи! А один казак, Маргарита рассказывала, – у неё сестра замуж за казачьего офицера вышла недавно, – так с войны любимой молодой жене пишет: «Так, мол, и так... живи и будь здорова, а относительно меня не беспокойся; я тоже жив и здоров, но считай меня, прошу тебя, мертвым, потому что домой я все равно не вернусь... Они, эти изверги, отрезали у меня нос и уши». Ты слышишь меня, Варя? Каково?

– Ужас какой!

– Да, Варюша, ужас! Это – звери, варвары! Они хуже гуннов.

– Ах, как страшно жить теперь, Муся! Не дай Господи, если... Послушай, мне кажется, что мы напрасно сидим еще здесь, в Отрадном. Немцы могут...

– Они ничего не могут. Сюда они не посмеют придти, да и не придут. Об этом не может быть и речи. А вот ты скажи лучше, что случилось с Китти? Такая была жизнерадостная, веселая и вот стала совсем неузнаваемой после возвращения из-за границы.

– Но ваша мама так больна; это не может не действовать на Екатерину Владимировну.

– Да, мама больна... понимаю... Ну, а с Борисом почему же она такая? Ты разве не замечаешь, как она говорить с ним теперь, как относится? Ах, Варюша, мне кажется, что она вовсе не любит Бориса!

– Что ты, что ты! Господь с тобою!

– Да, Варюша, да. Я в этом почти уверена теперь. И, когда он приехал к нам в последний раз из Варшавы, мне показалось даже, что Китти вовсе не была рада ему... Ты помнишь, она все молчала.

– Перестань, Мусик, вздор болтать! Все это только кажется тебе; нервы расшатались и только.

– Не нервы, Варюша, нет.

Девушки смолкают и чутко вслушиваются в тишину.

Эта ночь все-таки красива. Застывший пруд бережно хранить в себе отражение звезд, полузатянутых легкой дымкой туч. Сквозь него смутно и бледно улыбаются золотые огни. Снова набегает ветер. Шуршат листья в аллее, падают тяжелые дождевые капли. И в этой тьме, в этой черной, жуткой сентябрьской ночи еще глуше, еще мрачнее и чувствительнее становится тоска.

– Пойдем домой!.. Холодно и сыро. Нас наверно ждут с чаем, – робко будить дрогнувший голос тишину

– Хорошо, пойдем, – покорно вторить другой.

Варя и Муся берутся за руки и спешат по шуршащим листьям аллеи.

* * *

Ярко горит электричество в большой столовой.

К чайному столу примкнуть другой, для работы. Груды

полотна навалены перед ними. Кое-что уже скроено, кое-что сшито. Все это отсылается в Варшаву, а оттуда пойдет дальше, на передовые позиции. Там насущная потребность в белье для войска, и его шьют всюду: и в царских дворцах, и в бедных домиках. Шьют и в Отрадном короткими днями и длинными осенними вечерами, когда гудит ветер в трубах и однообразно прыгает по крышам дождь.

Китти, Вера, Зина Ланская и Маргарита Федоровна तोропливо наматывают, строчат, подрубают. Четыре швейные машинки стучат без остановки. К работе привлечены две «чистые» горничные и домашняя портниха. Но те работают в девичьей особе, здесь же только молодые хозяйки. Они работают и говорят без устали о событиях, потрясающих мир, или вдруг начинают спорить.

Впрочем, спорят не все. Китти больше молчит. Она постоянно молчит теперь и сидит бледная и угасшая. С тех пор, как она полтора месяца тому назад вернулась из за границы, ее точно подменили. Никто еще не слышал от неё звонкого смеха и не видел её улыбки. А ведь прежде это была воплощенная радость, олицетворенная жизнь, сама весна. И куда девалась вся её красота, такая яркая, такая редкая? Щеки как-то обтянулись, глаза померкли, темные кольца оттеняют их.

– Ты больна, Китти? Что с тобой? – часто допытывается Вера.

Но сестра молчит и только пожимает плечами. Что с нею?

Да разве она может объяснить?

– Екатерина Владимировна, отчего вы мало кушаете? Хотите чего-нибудь вкусенького? Прикажите только, и я велю повару приготовить, – заглядывая ей в глаза, говорит Маргарита.

– Нет, Маргоша, спасибо, ничего не надо, – апатично отзывается девушка.

Экономка обиженно поджимает губы.

– Что же это, Екатерина Владимировна? Неужели за границей вкуснее нашего готовят? У колбасников-то небось одни габерсупы да шпинаты, да клецки разные. Неужели же вы за ними от нашего русского стола отвыкать стали? – возражает хохлушка и обиженно глядит на Китти.

Это у неё нечто в роде хронического недомогания – принимать за личную обиду недостаток аппетита у тех, для кого она заказывает изысканные обеды и ужины. Не едят – значит, не вкусно; не вкусно – стало быть, виновата она.

Нынче Маргоша особенно допекает по этому поводу «сценами» Китти.

– Может быть, артишоков завтра, Екатерина Владимировна, велеть к обеду подать, а? Вы прежде так любили со сладким соусом.

– Артишоки? что? Ну, да, хорошо, хорошо, хоть артишоки, – рассеянно бросает Китти, думая все о своем, и вдруг бледнеет. – Постойте, Марго, не говорите о еде!.. Мне скверно... Ах, как скверно!.. Постойте! – растерянно бросает де-

вушка и, схватив платок, тесно прижимает его ко рту и с помутившимися глазами выбегает из комнаты.

Это повторяется с нею уже но в первый раз. Но в этом конечно нет ничего удивительного. Она целыми ночами не спит теперь и возится с матерью. Старуха деспотически требует постоянного присутствия Китти около себя, особенно по ночам, во время ветров и непогоды, и у не выспавшейся и не отдохнувшей как следует девушки кружится голова и начинаются тошнота и слабость. К докторам она не хочет обращаться и предпочитает лечиться сама, собственными средствами. Она понимает кое-что в медицине. Года три тому назад, пресытившись балами и выездами, она удивила всех: начала изучать медицину, уход за больными, хирургию, работала в качестве сестры-волонтерки в амбулатории одной из общин, прошла курс и получила, свидетельство и звание сестры милосердия. И к ухаживанью за больными у неё какие-то исключительные способности. Её нежные, тонкие ручки как бы созданы для того, чтобы осторожно и мягко накладывать повязки, бинты, ставить градусники и припарки.

Это особенно чувствуется теперь, когда Софья Ивановна серьезно больна, когда с потрясающей силой снова разыгралась у неё эта ужасная болезнь почек. За нею Китти ходит, как за ребенком. Никого другого душевнобольная не подпускает к себе, и когда у несчастной безумной разыгрываются её обычные приступы, одна только Китти в состоянии облег-

чить, успокоить их.

– Что с Китти? – Вера смотрит вслед сестре удивленными глазами. – Это уже в четвертый раз за эту неделю.

– Дорогая моя, ты-то хоть не волнуйся! – и с великолепным жестом ей одной присущего спокойствия Зина откладывает работу в сторону и подходит к окну.

Оттуда из тьмы ночи глядит осеннее ненастье и после короткой передышки снова забарабанил дождь. Какая тоска!

Да и жутко как-то... В доме – психически больная, и одно это уже не дает покоя. Правда, Зина не из трусливого десятка, но нет ничего неприятнее встретиться с блуждающим, мутным взглядом и бессмысленно дикой улыбкой, подчеркивающей безумие. Тетю Соню она конечно любит, но тетя Соня – это одно, а помешавшаяся старуха, что живет там, за плотно замкнутыми дверями, на своей половине – это другое, две совершенно разные женщины, два совершенно разные понятия. Нет, уехать бы отсюда поскорее!

Но ехать как-то странно сейчас и дико: оставить друзей одних в такую тяжелую минуту! Да и в сущности что случилось такого, что все они стали точно другие точно выбитые из колеи? Что например с Верою? Отчего она с такой злобой глядит на всех, точно все сделались вдруг её личными врагами? Надо же это выяснить когда-нибудь, а то так и с тоски пропадешь. От «зеленой скуки» Зина повеситься рада, а они еще дуются все!

А в Петрограде теперь какое оживление, Господи! Мани-

фестация, сутолока на улицах, театры, концерты в пользу героев, их семей. И драматические курсы уже функционируют конечно – та «земля Ханаанская», в которую Зина так жаждала вступить и не вступила еще, не вступила. Экзаменационные испытания уже были, а она время их преблагополучно провела здесь. Досада какая!

Зина заламывает над головою свои точеные, полные руки и потягивается всем телом, как кошка, изгибая спину. Какое наслаждение так вытянуться! Сидишь-сидишь целый день с иглою... Конечно, патриотический взрыв, великие побуждения, любовь к родине – все это прекрасно, но сейчас она просто устала от затишья, от этого мертвого покоя и запустения своей теперешней жизни. Хочется каких-то мощных впечатлений, способных всколыхнуть душу и дать ей какой-то могучий, новый порыв. Но где эти впечатления, эта царственная радость? Все смела со своего пути эта проклятая война.

Глава III

– Они приехали! Они приехали! Они здесь! Вера, Зиночка, Китти... Где Китти? Боже мой, Толя приехал. Слышите? И с ним Николай Луговской. Они идут, они уже здесь! Встречайте же их скорее!

Муся ураганом врывается в комнату, как весенний поток, как веселая струйка прибоя. Где печаль, где недавняя тоска в её милом личике? Их уже нет, они иссякли. Её щеки горят, глазенки сверкают. Варюша едва поспекает за нею.

– Вот они! Милые! – и Муся виснет на шее брата, визжа от счастья, как семилетняя девочка.

Вера, Зина Ланская спешат тоже навстречу офицерам. Откуда-то из внутренних комнат выбегает Китти и с легким криком припадает к плечу Анатолия. Тот, отбиваясь от младшей сестренки, продолжающей душить его поцелуями, протягивает руки старшей сестре.

Он не видел с весны Китти. Она вернулась из-за границы уже после его выступления в поход. И о несчастье, случившемся с их матерью, он ничего не знает.

Ему писали только о её физическом недомогании, но о психической болезни ни слова. Бессмысленной жестокостью было бы тревожить его молодую душу и без того напряженную непрерывным участием в боях, когда все остальное должно быть в ней безмятежно и спокойно, все, кроме пере-

живаемых впечатлений боевых дней. И до поры, до времени решено было скрыть от Анатолия болезнь матери. Поэтому-то ничего не подозревающий о несчастье он так радостно и весело вбежал под родную кровлю.

– Сестричкам привет! Муська, отстань, пластырь ты этакый, дай поздороваться с другими!.. Китти, красавица моя, здравствуй! Как поживаешь? Ты похудела... Немудрено. Какое счастье еще, что вы вовремя успели вернуться!.. *Ma belle cousine!*¹⁰. Привет прекраснейшей из прекрасных. Маргариточка, восторг души моей!.. А вы все цветете?

– Ну, уж вы скажете тоже, Анатолий Владимирович! Какое там цвету? На четвертый десяток переваливаю.

– Признайтесь под шумок, сколько сократили? Все не замужем? Ай-ай-ай! Не теряйте времени даром!

– Шутник вы, Анатолий Владимирович! Всегда такое скажете, отчего девушку в краску...

– А вы не краснейте. Не стоять, право! Лучше подыскивайте себе пару, а меня сватом.

– Она, Тольчик, никогда замуж выходить не станет: она в тебя влюблена... Без-на-де-жно! – хохочет Муся...

– Ах, погибель моя! Что скажет тоже! – и Маргарита едва не валится от смущения.

Но Толя уже забыл о ней. На его взгляд, Китти похудела и изменилась ужасно. И Верочка смотрит букой. А Зиночка поразительно похорошела. Впрочем, он этого ожидал.

¹⁰ Прекрасная кузина! (*фр.*)

– А я? А я? – прыгая козочкой вокруг брата, допытывается Муся.

– А ты стрекозой по-прежнему, и никаких эволюций в этом отношении от тебя не жди. До седых волос доживешь, бабушкой будешь, а так и останешься стрекозой.

– Пожалуйста, не пророчь. Я до седых волос не доживу. Я умру молодой, – заявляет Муся, в то время как Луговской пожимает руки девушкам и целует Зинину руку.

Теперь все смотрят жадно, с немым вопросом в лица приезжих. Как изменились они, как похудели оба! Как огрубела их кожа, обветренная под открытым небом в окопах! Загорелые, черные, похудевшие, они заметно возмужали; их лица стали серьезнее, глубже, значительнее и в то же время запечатлели какой-то особенный отпечаток отваги, мужества, готовности и стихийной покорности судьбе. У труднобольных часто бывает такое выражение пред смертью, приближение которой они сознают и не боятся.

Коротко остриженные головы обоих офицеров кажутся забавными Мусе.

– Адские уроды стали! Но, ах, какие милые уроды! – восклицает она и восхищается ими, и сожалеет их в одно и то же время.

– Да, Марья Владимировна, под немецкими шрапнелями не похорошеешь, – смеется Никс.

– А вы многих немцев убили? Да? Вы сами? Вот этой самой рукою? Штыком или саблей? Из револьвера? А вам не

было страшно? Ни чуточки? – допытывается девочка, и её темные глазенки горят.

– А что татап? Спит? Ей лучше хоть немного? – спрашивает Толя у сестры.

– Нет, она больна, Тольчик, и в этом ужас. Все, все, что было улучшено и подправлено за границей, все пошло насмарку, – поспевает и тут неугомонная Муся, не обращая никакого внимания на отчаянно удерживающих ее глазами сестер.

– А ее можно видеть?

– Подожди немного... Побудь с нами! – совершенно потерявшись, говорить Китти, и её глаза глядят на брата со страхом и мольбой.

«Вот оно!.. Начинается. Он сейчас все узнает, бедный мальчик!» – говорят также испуганные глаза Веры, Муси и Зины.

Чтобы отвлечь внимание Анатолия, хотя бы временно, от матери, Ланская просит обоих офицеров рассказать о боях, об их впечатлениях, о немцах. Маргарита усиленно угощает чаем, закуской. Из кухни несут разогретый ужин.

Выпив старой, прадедовской горилки, настоящей на черносмородинных листьях и чуть ли не столетие выдержанной в погребе, и закусив куском домашнего окорока, Анатолий приступает к рассказам.

Да, современная война ужасна. Она ужасна тем, что тут одной храбростью и отвагой не возьмешь. Нельзя выйти, как в былое, старое время, в чисто поле один на один с врагом,

нельзя сходитья дружинами и биться, пока одна сила не одолеет другой. Чудеса техники военного искусства, новые мировые открытия, усовершенствования средств войны, – все это сделало то, что победа не всегда остается за храбрейшим на поле битвы, где проявляюшь свою удаль богатыри, а за тем, кто занял более выгодную позицию, и успел остановить на них свои смертоносные орудия. И победа иной раз при таких условиях решается прежде, нежели увидишь врага.

– Это ужасно! Это ужасно! – шепчут слушательницы, и их лица бледнеют.

– Но тем не менее мы побеждаем и здесь, и там, на два фронта, – вставляет Никс, и его добродушное лицо с узкими глазками все искрится.

– Да, побеждаем, – подхватывает Анатолий с разгоревшимися сразу глазами. – А все благодаря кому? Единственно благодаря только беззаветной храбрости, стойкости, мужеству и терпению русского солдата и распорядительности начальников. Но солдаты... Солдаты действительно – какие-то чудо-богатыри, герои из старых сказок. Они до ужаса выносливы, до легендарности отчаянно-храбры. Ведь вы представить себе не можете, что это за герои. Казак Крючков, например. Или вот у нас в эскадроне случай. Послал нас командир на разведки. Стояли мы под Х., маленьким немецким городком. Ну-с, выехали... Я, вахмистр, взводный и еще двое; в числе их Симашев между прочим, наш запевала, пе-

сенник. Заехали в лес. Начало темнеть. А он, неприятель то есть, знаем, недалеко тут же скрывается, за лесом. Едем на-чеку уже. Откуда ни возьмись нам наперерез целый взвод кавалеристов скачет. Сюрприз нам приготовили: нас пятеро, а их вдесятеро больше. Вижу отлично, путь нам отрезан и впереди целый неприятельский корпус за опушкой. Что делать? Признаюсь, в первую минуту растерялся. Вдруг Симашев шепчет: «Ваше высокоблагородье, дозволейте их обманно пронести. Може, тогда и пробьемся». – «То есть как обманно?» – спрашиваю. «А вот так, значить: вас они не видали... так вы за кустами укройтесь, я же прямо на них вылечу, будто ненароком, случайно. Они тотчас погонять за мною. А я, как глаза ихние значить, отведу, так, значить, вам путь-дорога открыта. Поскачут они за мною, а вы...» Да как сказал, так и без приказа метнулся вперед «отводить глаза» собственной особой, или, иначе говоря, на верную смерть полетел, чтобы спасти меня, офицера, да четверых товарищей. Ну, конечно, все вышло как по писанному. Погнался за Симашевым неприятель всем взводом, думал – не один он, а целый отряд. А мы стоим в прикрытии и ждем, пока откроется дорога. Конечно немцы не замедлили окружить Симашева. Раздались выстрелы. Наш герой свалился. Ну, думаем, конец. Однако же жив, хотя и тяжело ранен... Может стать-ся, еще и выживет. Выручили его наши.

– А кто выручил? Что же не договариваешь? А? Говорить уж, так все, без утайки! – вмешивается Луговской, и его кал-

мышькие глазки суживаются от смеха.

– Ну, вот еще... пустое... вздор... ничего особенного... – сердито отмахивается Анатолий.

– Нет, уж ты не лукавь! Выручил Симашева не кто иной, как он сам, ваш Тольчик. Да еще как выручил-то! Выпросил в тот же вечер у эскадронного два десятка наших молодцов и ударил с ними на немцев. Отбил умирающего героя и выгнал неприятеля с его позиций, причем немцы, в темноте не разобрав численности нападающих, в панике удрали целым полуэскадром от двадцати всего человек. А все вот он, ваш Тольчик.

– Ну, братец, ты меня не смущай! Ничего нет здесь особенного, и каждый на моем месте поступил бы так же. Нельзя же было оставлять им героя на поругание. А вот что еще наш один серый герой сделал.

И молодой офицер со все более и более возрастающим воодушевлением рассказывает подвиг за подвигом, случай за случаем из боевой, походной жизни, яркими красками рисующие гигантскую духовную фигуру нашего чудо-богатыря солдата.

И, чем больше говорить молодой Бонч-Старнаковский, тем ярче разгораются его глаза, тем горячее и пламеннее звучит его речь; какую-то исключительной мягкой нежностью (так может только отец говорить о любимом сыне) были пропитаны его рассказы о солдатах.

Не отрывая взора от рассказчика, с жадным вниманием

ловят каждое его слово присутствующее. И когда случайно лакей звякает чайной ложкой, на него тигром бросается Маргарита Федоровна и, дико вращая глазами, шипит, как змея.

А Толя, раз начав, не может уже остановиться. Слишком интенсивно переживал эти важнейшие для воюющих со злым и коварным врагом моменты молодой воин, чтобы они не захватили его всего, чтобы не зажгли, не распалили всей крови в его жилах.

– Да, бесспорно, враг силен. Нельзя закрывать глаза на будущее, – говорить он минутой позже. – Недаром готовилась столько лет Германия к этой войне. Там все предусмотрено, все рассчитано и расписано, как по нотам. Ведь вся Россия была покрыта сетью германского шпионажа еще задолго до войны. Враг не дремал. В жилах вождя немцев течет кровь, пропитанная бактериями разрушения. Это – какое-то болезненное стремление к уничтожению. И его народ послушно служить ему в этом. Это – какие-то каменные люди. Для них нация дорога постольку, поскольку она является символом достижения. Дисциплина, доведенная до совершенства, заменяет пыл, энтузиазм любви к родине и братскую сплоченность, которыми славится наш народ. Но мы победим с Божьей помощью. Я верю в это, мы победим! Наше войско горит, как один человек, одним общим порывом. Наша славянская общая душа, душа всего народа, всей армии, бурно протестует сейчас против тевтонского насилия, против немец-

кой наглости, против дерзости нации, возомнившей себя едва ли не единой и полновластной хозяйкой мира. И нельзя не победить с такими героями, с такими чудо-богатырями, которые, забыв все – и родные села, и работы, и безропотно покинув жен и детей, стариков и малюток, – встали все, как один человек на защиту чести святого славянства. С такими орлами нельзя не победить. А смелая и мудрая рука Верховного Вождя, благословляющая свое миллионное боевое семейство, разве она не несет залога победы и будущей славы?

Анатолий говорить горячо, пылко, увлекаясь, как юноша. Прекрасно сейчас его обветренное, загорелое лицо, лицо не прежнего, – о! – далеко не прежнего легкомысленная мальчика, баловня судьбы и женщин, бального дирижера и победителя на конских состязаниях. Мужественно и значительно это загорелое молодое лицо, страстное воодушевление сквозить теперь в каждой черте его, освещенного глубоким внутренним чувством.

– Если даже только третья часть нашей армии чувствует так, как он, то победа обеспечена, честное слово, – тихо вставляет Никс.

И у него тоже сейчас какое-то проникновенное лицо.

«Ах, милые вы, милые оба!» – мысленно восхищается Муся, и от полноты чувств так сильно стискивает руки пристроившейся около неё Варюши, что бедная «Мусина совесть» вскрикивает от боли.

Этот легкий крик как бы меняет, вспугивает общее на-

строение. Анатолий словно просыпается. Его лицо торить от не улегшегося возбуждения, глаза еще сияют.

– Ну, я пройду к маме. Я думаю, она не спит еще. Пустите меня к ней, я так давно не видал её! – и, оставив недопитый стакан с чаем, он встает из-за стола и в сопровождении Китти, взволнованной и испуганной предстоящим свиданием, выходит из столовой.

В соседней гостиной девушка останавливает брата.

– Толя, дорогой мой, послушай...

Как она бледна сейчас! Как дрожать её руки!

– Что такое? Ты чем-то взволнована, сестра?

О! как сказать ему, как сказать? Какая мука! Китти уже раскаивается сейчас, что не предупредила его письменно о несчастье. Бедный мальчик! Как он должен будет страдать!

Теперь она говорить тихо, сдержанно, смущенно.

Анатолий внимательно слушает, насторожившись, с нервами, натянутыми, как струна. Его рука судорожно сжимает руку сестры, лежащую на обшлаге его походной куртки. И сам он сейчас бледен до синевы. Ему кажется, что матери уже нет, что она умерла.

– Она... – начинает он дрогнувшим голосом, – она... Неужели? О, говори, говори, скорее!

– Что, Анатолий, что, голубчик? Нет, нет, она жива... да, Анатолий, она жива, хотя... хотя было бы лучше, если... для неё лучше, конечно...

– Китти... она?..

– Она – душевно больная, наша дорогая мама, – с трудом выдавливает из себя она слова.

– А-а-а-а...

Ни один мускул не дрогнул в лице Анатолия, но оно помертвело и глаза широко раскрылись с выражением ужаса.

– Расскажи мне, как все это случилось, – говорить он минутой позже, справившись с волнением.

Тихим, прерывистым шепотом передает ему Китти все до встречи их с Рудольфом. Об этой встрече она конечно не обмолвливается ни единым звуком.

Анатолий выслушал, казалось, спокойно, выслушал все до конца.

– Значить, это «они»? Все зло от них? От этих злодеев? – спрашивает он.

– Да, Толя, да.

Анатолий заскрипел зубами.

– Какое несчастье, сестра, что отец заблаговременно прогнал отсюда этих шпионов! Иначе я убил бы их обоих, и отца, и сына, – цедит он сквозь зубы, конвульсивно сжимая кулаки.

– Про кого ты говоришь, Толя? Я не понимаю.

– Про Августа и Рудольфа Штейнбергов. О, они ответили бы мне оба за то, что их изверги-единомышленники искалечили маму!

«И погубили сестру», – мысленно добавляет Китти и вздрагивает от неожиданности.

Неслышно ступая по ковру, к ним приблизилась Вера.

– Нельзя по одной банде негодяев судить обо всех, – говорить она тихо и глухо, и её темные глаза строго глядят в лицо брата. – Рудольф Штейнберг и его отец ничем не виноваты. Разве они могут отвечать за поступки единомышленников?

– А я не вдавался бы в подобный анализ, а просто застрелил бы их обоих, как собак, – со страстной ненавистью вырывается у Анатолия.

– За что? За других? – и взгляд Веры, полный безнадежного отчаяния, не отходить от лица брата.

Но он не видит этого взгляда. Он уже оправился немного и, не расслышав последних слов сестры, шагнул из гостиной.

Зато Китти перехватила взгляд сестры, заметила отчаяние и волнение Веры.

«Неужели? Господи! Неужели? Этого еще недоставало, – вихрем пронеслось в её мыслях, и колючие струйки ужаса поползли в её душу. – Неужели он... этот злодей, этот варвар, успел вскружить Вере голову? Неужели она любит его?»

Глава IV

«Нет, я положительно начинаю сходить с ума сегодня. Я галлюцинирую. Это – безумие. Что сделалось со мною? Что случилось нынче? Отчего он не выходит из моей головы? Ну, я понимаю, будь я еще Муськой, увлекающейся девчонкой, грезящей о сказках любви, – это было бы вполне простительно. Приехал с войны красивый, побывавший в боях, офицер, бывший поклонник, до которого было раньше ровно столько же дела, сколько до китайского богдыхана и с которым и флиртвала-то больше по инерции, в виду *cousinage'a*. А тут вдруг засверлило сердце. Обиделась, видите ли, на мальчишку за то, что он ни разу не взглянул во весь вечер и как будто невидимому совсем выкинул из памяти прежнюю „страсть“.

Глупо все это, ерунда! Просто разошлись, расползлись нервы. Нет ничего мудреного: хоть кого сведет с ума эта дикая монастырская жизнь! Вечное затворничество, все одно и то же, все одно и то же, да еще волнение и тоска при этом! Поневоле обрадуешься первому свежему человеку и готова повиснуть у него на шее... Фи!»

Зина заметно сердится, негодует на себя. Уже первый час ночи, а Анатолий все еще у матери – очевидно, сидит у её постели и ждет, пока больная уснет. А до неё, Зинаиды Викторовны Ланской, ему как будто никакого нет дела. Но выйдет же он, наконец, должен когда-нибудь выйти оттуда! Не

целую же ночь будет сидеть там. О, она дожждется его! Ей почему-то хочется еще раз повидать его потемневшее от загара, словно бронзовое, лицо, ставшее таким мужественным, значительным и интересным! Когда за столом Анатолий рассказывал про своих солдат, передавал переживаемые им лично впечатления и высказывал с сильной уверенностью свой взгляд на несомненность победы, – она просто любовалась им, его порывом, его душою и гордилась, да, гордилась своим «маленьким Толей». Если бы он таким, каким приехал нынче, заговорил тогда о своей любви, разве у неё хватило бы духа сказать ему «нет»? Ни за что в жизни! Такой, каков он сейчас, он уже не прежний маленький Толя, с которым можно безнаказанно флиртовать, кокетничать, плясать танго. Нет, этого должно уважать, это – личность, пред которою она готова преклониться. Он олицетворяет собою одну трехмиллионную часть великой, но скромной армии истинных героев, которые побеждают без помпы и умирают без страха там, на чужих полях. Что же он однако не спешит сюда? Ей хочется дать ему понять, что все, начиная с его горячих, полных патриотического захвата речей и кончая его загрубевшим под ветрами непогоды лицом и его как будто пропитанной порохом дымом курткой защитного цвета, – все в нем дорого ей. А он ни разу не взглянул на нее нынче тем взглядом, каким смотрел прежде: немножко дерзким, немножко восхищенным. А она ждала этого взгляда, так ждала! Неужели война заставляет забыть о любви и неге жизни? Но ведь

умирают же на войне мужья, женихи и любовники с карточкой любимой женщины на груди? Одно не мешает другому. Ведь в рыцарские времена взгляд Прекрасной Дамы решал исход турнира.

«Так почему же? Или я подурнела? Или он нашел кого-нибудь лучше, интереснее меня?» – с ревнивым уколом в сердце, вне всякой логики, делает она новое заключение и мельком искоса бросает робкий взгляд в зеркало.

Нет, она – прежняя... Даже лучше прежнего. Похудела, осунулась, но это идет ей. И волосы, подсвеженные недавно, стали еще более яркими и блестящими. Нет, она хороша, положительно хороша. Здесь, значит, кроется другая причина. Но не все ли равно, что это? Какая мука ждать!

У камина в зале Никс Луговской рассказывает девочкам про какую-то стычку. Отличился еще какой-то смельчак-казак: нанизал на пику несколько немцев получил три Георгия. Девочки ахают и умиляются. Вера крупными шагами ходит по залу. В столовой Маргарита гремит у стола, перетирая фамильное серебро.

«Боже Всесильный! А Анатолий не идет».

Новая мысль обжигает мозг Зины, и она решительно подходит к группе молодежи.

– Николай Иванович, на одну минуту конфиденциального разговора, – кокетливо окликает она Луговского, и отводит в сторону. – Никс, голубчик, скажите Тольчику, что я его жду – понимаете? – жду на скамейке у пруда, в белой беседке.

Так и передайте! Да?

– Сочту своим долгом!

– Мерси. А я иду туда, – и Зина, чуть смущенная, кивнув ему рыжей головкой, уходит.

Офицер смотрит изумленными глазами ей вслед. Он знает безнадежную любовь товарища к этой женщине, и сейчас её поручение приятно действует на него. Он рад за своего друга.

А Зина уже в саду. Накинув на себя первое попавшееся пальто, она стремительно мчится по каштановой аллее. Слава Богу еще, что дождя нет. И месяц, как сказочный волшебник, своим призрачным, серебряным светом воздвиг целые терема в облаках. Дивная феерия выросла там, на гребнях этого высокого и далекого океана: какие-то корабли, какой-то белый городок, что-то мавританское с башенками и галерейками вокруг них. Или это – только мечта? Конечно, мечта, призрак. Но как бьется сердце Зины! Оно точно заглушает шорох листьев под ногами, и в голове туман. Она давно уже не испытывала такого волнения. В двадцать восемь лет она – старуха душою. Никаких грез впереди, никаких сожалений сзади; желаний давно уже нет; все холодно, рассудочно, ясно, давно уже ясно. И вот снова этот огонь, эта неясная мечта, перехватившее сердце. Чистое (у неё-то, пережившей все!) влечение, может быть, страсть без примеси фальши, может быть, даже и любовь.

В саду холодно и сыро. Но Зина не чувствует холода и

сырости. Её лицо горит, тело тоже. Сладкая отравка жжет её грудь. Ее нестерпимо тянет к чистой, прекрасной ласке кого-то большого и сильного, кто бы взял ее, как маленькую девочку, к себе на колени и долго-долго баловал и качал на сильных руках. С нею еще никогда не было ничего такого, она до сих пор умела только властвовать и дразнить.

Зина сидит теперь в белой кружевной беседке над прудом, в той самой, где, может быть, столетие назад какому-нибудь молодому красавцу-шляхтичу клялась в любви неверная жена старого магната. Своды беседки как будто полны еще их преступным шепотом, знойными поцелуями, их раскаленным дыханием. Но какое дело Зине до чужой любви, чужих песен страсти? Она жаждет своей... и ответной.

Волнение, зажегшее её кровь, уже начинает изменяться: оно переходит в раздражение, в страх. Почему Анатолий не идет так долго? Почему заставляет ее ждать на холоде? Как это однако нелюбезно! И это – Бонч-Старнаковский, потомок рыцарей до кончиков ногтей, жрецов культа обоготворения Прекрасной Дамы. Нет, нет, тут что-то не то...

Господи, как он долго!

Змея сомнения осторожно и незаметно вползает в сердце Зины.

А неумолимое время идет. Луна раз десять заходила за облака и появлялась снова, а Анатолия все еще нет.

Что же это значить? Сердце волнующейся вдовушки стучит все тревожнее, все сильнее. Ей хочется сейчас искушать

себе руки, броситься в мокрую траву и рыдать навзрыд.

Что это? Шаги?

Зина вздрагивает, вся переходит в слух. Так и есть – он. Шуршать сухие листья, кто-то идет. Он! О, как бьется сердце! Сейчас... сейчас она увидит его! О чем они будут говорить? Что скажет ему она, Зина? Да разве она знает? Да и не все ли равно? Огромная радость затопляет собою все её существо; как девочка, вскакивает она со скамейки и бежит к выходу.

– Вы, Тольчик? Вы? – рвется призывным звуком у неё из груди.

Минута молчания. Затем голос Луговского отвечает извиняющимся тоном:

– Pardon, Зинаида Викторовна, виноват. Это – я, Никс. Анатолий просит вас назначить ему час завтра. Сегодня ему не вырваться: Софья Ивановна как будто узнала его, не пускает, держит при себе и плачет. С нею опять только что был припадок.

Какое разочарование! Что-то рвется и гаснет в душе Зины. О, она знает что! – внезапная страсть. Но все же в недрах сердца, в глубине души остается что-то более сильное и прочное, нежели эта страсть и желание, что горит нежно и ласково, озаряет, как лампада, мозг и освещает душу.

Ну, да, она поняла сейчас... Поняла, конечно. Она любить. И что это за радость, что за мука – эта любовь!

Она машинально принимает руку Луговского и идет мол-

чаливая, затихшая в дом. Листья шуршать, как живые, под ногами. И в этом шорохе Зина точно слышит тихое, чуть внятное:

«Ты любишь... любишь».

– Люблю! Люблю! – хочется ей ответить им. – Люблю! Люблю!

Она не может никого видеть нынче; если ей не пришлось видеть сегодня Анатолия, пусть и все остальные исчезнуть для неё.

Обходом, оставив в стороне большой зал, она идет к себе, раздевается быстро, как нашалившая девочка, лукаво косясь на дверь, и так же быстро юркает под одеяло.

– Завтра... завтра! – шепчет она сама себе, утопая в волнах кружев и батиста. – О, милый! Как я завтра поцелую тебя!

Усталые нервы падают, и так же быстро и внезапно падает сон на её затихшее в истоме тело.

Вся ночь мелькает, как один короткий и быстрый миг для Зины в сплошном крепком сне без грез и видений, здоровом, как сон ребенка. И, когда она наконец раскрывает и шурить глаза на поднятую штору к на солнечное радостное утро (как будто и помина не было о недавних дождях!), ей кажется, что она спала целые сутки.

Хорошенькая горничная из местных польских крестьянок хозяйничает у неё в комнате.

– Что это, Ануся? Разве уже так поздно? – спрашивает

Зина.

– Поздно, золотая пани, сильно поздно. Уже двенадцатый час. Паненки давно встали.

– А наши герои... Молодые господа?

– Ох, когда хватились, пани! Давно уехали.

– Как уехали? Куда?

– На станцию, пани, на первый поезд. Эстафета была ночью нашему молодому господину. Разбудил их Василий. Прочли и сейчас же собираться стали. А вам письмо оставили.

– Письмо? Давайте скорее! Этот маленький листок, вырванный наспех из записной книжки и вложенный в первый попавшийся конверт! Он точно кусок раскаленного железа жжет Зине пальцы. Замирая от волнения, она читает:

«Кузина, умоляю простить. Спешно вызван на позиции.

Идем дальше ускоренным маршем. Оставляю за собою право предполагаемой беседы в будущем. А пока целую ручки. Пожелайте нам успеха – разбить наголову врага! Ваш Анатолий».

И все.

Как мало!.. как убийственно мало! Господи, что же делать теперь? Ждать? Но она не может и не хочет ждать. А если его убьют? Ведь она любить его. Нет, нет! Она не станет ждать нового случая встречи в будущем, не хочет зависеть от судьбы. Она увидит своего «Тольчика», увидит его. Но где? как? Куда его вызвали? куда послали? В нынешнюю войну, по рас-

поряжению свыше, никто не знает ни направлений маршей, ни распределения войсковых частей. Если она и бросится следом за Анатолием, то уже не найдет его нигде, нигде.

Зина смотрит в окно на солнце. Там тускло и темно. Она смотрит на хорошенькую Анусю – какое ужасное лицо!.. Нет вокруг ни красок, ни радости, ни жизни. О, какая мука, какая смерть!

«Я люблю тебя до отчаяния, слышишь?» – хочется ей крикнуть во весь голос, но она молчит, и в душе её растет и зацветает в один миг жуткий цветок страдания.

Глава V

Снова одни. Снова четыре молодые женские фигуры встречаются за рабочим столом длинный, темные осенние ночи и непогожие, дождливые дни. Теперь шьют и вяжут теплые вещи. В окопах холодно; родные героини должны чувствовать заботящуюся о них руку. С войны от Анатолия часто приходят открытки с пометкой «Действующая армия». Чаще всего они гласят: «Пишите о здоровье мамы. Целую всех. Толя».

Коротко и бодро, как всегда.

По вечерам, когда кончают работать, Маргарита Федоровна, по просьбе барышень, раскладывает карты. Гадают по большей части на Зину... Дальняя дорога, новость, денежный интерес. Бубновый король, снова дорога и любовный интерес. При последнем Зина краснеет. Все одно и то же, без малейших вариаций на старые темы.

Софьи Ивановны почти не видно. Теперь она по большей части лежит, отвернувшись к стене, целыми днями не говорить ни слова. Муся еще здесь, в Отрадном, и не думает возвращаться в институт.

– Нет, нет! – на все увещания сестры протестует девочка, – и не поеду в мою тюрьму. Какое же теперь ученье? И папа позволил мне оставаться дома. Ведь и Варюша тоже не едет.

Варюша, действительно, не едет. Она решила пожертво-

вать годом и перевестись в другое учебное заведение. Она – сирота. Влиятельному опекуну до неё мало дела.

Сам Бонч-Старнаковский не зовет больше в Петрограда дочерей. Он сам слишком завален делами, ему некогда будет заниматься ими в столице. В Отрадном все же спокойно. Сейчас только в калишском районе хозяйничают немцы, а в их стороне все по-старому.

Да и Китти жаль разлучать с женихом – Мансуров приезжает в Отрадное каждую неделю.

Увы! Старик-отец и не подозревает даже, какую пытку являются эти приезды для его старшей дочери. Для неё это – казнь на медленном огне. Чего бы только не отдала девушка, чтобы то жуткое и роковое, что случилось с нею, оказалось сном. Оно, как страшный яд, отравляет её существо, лишая сна и покоя. Китти, как тень, бродит из угла в угол целыми днями или, присев к столу, берет иголку и делает меланхолически стежок за стежком. И лицо её точно закаменело; глаза еще глубже ушли в орбиты и таять в себе что-то, никому неизвестное, закрытое. С Мансуровым она говорить мало и, когда он в Отрадном, большую часть времени проводит на половине матери. О чем ей говорить теперь, когда между ними легла тайна, страшная, непоправимая на всю жизнь?

«Это – проклятие. Это не может и не должно так продолжаться! Еще месяц, неделя таких страданий и мук, и – лучше умереть!» – каждый вечер, ложась в постель, говорить себе Китти и каждое утро, поднявшись, снова тащить на себе свое

бремя, привязанное ей судьбой, как каторжник тачку.

Её дни похожи на кошмар своим темным страданием и тоскою. Зато её ночи прекрасны. Она видит лучезарные сны. Ей снится, что она снова – прежняя Китти и нет у неё никакого горя. Она свободна от забот и горя, весела и радостна по-прежнему. Ничего не было, ничего не случилось. Их любовь – её и Бориса – цветет, как пышный и чистый цветок лилии. Она может светло и невинно смотреть в лицо жениху.

Ну, разве она виновата хоть сколько-нибудь во всем происшедшем? Разве она по своей воле загрязнила себя? Разве проклятый изверг, погубивший ее, заклеивший ее навеки, не возбуждает в ней только ненависть, гадливость, глухую злобу и презрение?

О, она любить Бориса – любить его еще мучительнее, еще сильнее, нежели прежде. И никогда она не убьет его чистосердечным признанием. Она скорее принесет самое себя и свое чувство в жертву, нежели отравить любимому жизнь. Какой ужас, какой позор, какие муки!

Китти умирает по сто раз в сутки, чтобы воскреснуть снова и снова умереть. Она стала, как тень. Осталось одно воспоминание о прежней Китти. А впереди ее ждет еще столько мук!

* * *

В это утро Китти проснулась от отвратительного ощущение-

ния в теле, которого еще не испытывала до этого дня в такой силе, как теперь.

«Вероятно, вечером съела что-то, что испортило желудок», – подумала она с отвращением.

Тошнота поднималась к горлу, мутило голову, жгло грудь. Бедняжка приподнялась, села на постели и с проступившими на лбу капельками холодного пота всячески удерживалась от припадка, стараясь в то же время вспомнить, что она съела на ночь. И она вспомнила, что, кроме стакана чая, у неё ничего не было накануне вечером во рту.

Вдруг, бледная до корней волос, Китти сообразила.

Жуткая догадка толкнулась в голову, и ледяной ужас сковал её душу. В голову теперь, помимо желания, лезли неопровержимые факты, подтверждения.

Бесконечно страшный порыв отчаяния захлестнул все её существо. Сомнений больше не было: ее ждало материнство.

«Все кончено. Теперь надо или умереть, или отказать Борису», – с мучительной ясностью пронеслось у неё в мыслях.

Но пойти на первое она не смеет: на кого останется больная, безумная мать? Она – старшая в доме после брата; она должна заботиться о матери и сестрах; ведь Вера (к сожалению она, Китти, поняла это недавно только) сама накануне эксцесса отчаяния. Значить, на её плечах еще новое тяжелое бремя: помимо болезни матери, еще горе сестры. И эта беспомощность Муси, еще не оперившейся, не вставшей на ноги. Ради них она должна жить – жить с этим пятном позора,

с этим ужасом в прошлом, с рядом мучений, нравственных и физических, впереди.

Рождению этого ребенка она конечно помешает; его не должно быть. Зачатый со стоном проклятия насильнику, он но может быть желанным и любимым ею, помимо уже всего остального. И двух мнений в этом вопросе быть не может.

Но Борис? Боря! Её любовь к нему, это – вечность. Она чиста, как прозрачное крылышко бабочки, пред ним, как сердцевинка благоуханного, светлого цветка. Потерять его любовь – значить, потерять жизнь. Но видеть его гибель, может быть, отчаяние стыда и ужаса вследствие этой ужасной правды – это хуже смерти, хуже пытки, хуже всего.

Мансуров и Китти сидят на скамейке под старым каштаном, вблизи балкона.

Нынче снова ясно и тепло, как будто опять пахнуло летом. И солнце греет, и радость разлита кругом. Но как мрачно, как тяжело на душе у обоих!

– Я позвала тебя сюда, чтобы поговорить с тобою, Борис. В доме неудобно: могут услышать и другие, – говорит Китти, зябко кутаясь в платок, несмотря на тепло.

Её голос кажется сейчас Мансурову каким-то деревянным и чужим.

– Я очень рад, дорогая. Мне тоже давно хотелось выяснить некоторые вопросы, близко касающиеся нас И наших отношений, – отвечает он и, помедлив минуту, добавляет: – я нахожу, что с некоторых пор ты заметно переменилась по

отношению ко мне.

– Вот как? – тем же деревянным голосом роняет Китти, по-видимому вполне спокойно, и в то же время что-то словно падает и обрывается в её груди.

– Да, дорогая! Надо быть положительно слепым, чтобы не заметить этой перемены в тебе.

– Может быть, Борис, – холодно, сухо произносить Китти, сама удивляясь появлению этого тона и возмущенная им, и все-таки продолжает тем же голосом и с тем же выражением: – может быть! Иногда обстоятельства бывают выше нас.

Мансуров смотрит на нее удивленными глазами. Что с нею? Кто подменил ее? Та ли это девушка с золотыми волосами, как фея, дарившая ему неземное счастье? Он бледен сейчас, и его темные глаза мрачно горят.

– Но... но... ты не откажешься ответить мне, дорогая, почему? Объясни причину.

– Объяснить причину, Борис?

О, этот холодный, невозмутимый голос! Как он бичует его!

– Но разве так необходимо объяснять причину?

– Да, Китти, да!

Какая нестерпимая мука! Так пытали древних мучеников-христиан, так жестокая инквизиция казнила оговоренных. Но ей-то за что эта мука – ей, истерзанной и уже запытанной? За что? Ведь она любить Бориса, любить с такою огромною, всесокрушающей силой и в силу этой любви до-

ведет начатое до конца. Лучше пусть он считает ее неблагодарной, пустой и ничтожной, лишь бы только не узнал главного – всего этого ужаса, который поразил ее, оставил след на всю её жизнь. Ведь в сущности спасеньем самого Бориса прикрывался злодей, когда обманом завлек ее в свой вертеп и погубил непоправимо. Каково это было бы узнать Борису?

Мысли Китти сейчас – как огненные стрелы: они жгут, прокалывают её мозг, вонзаются в него и высасывают из её крови последние надежды.

Собрав все силы, не глядя на Бориса, на его так горячо и страстно любимое лицо, она говорить все тем же деревянным голосом и деревянным тоном:

– Борис, ты помнишь, как мы встретились и полюбили друг друга? Это случилось так внезапно и случайно. Ведь да? Это произошло на балу у Родионовых. Ты был представлен моей маме, стал бывать у нас, сделал предложение. Ты помнишь, что любовь налетела сразу, как знойный вихрь. Теперь она так же быстро исчезла, прошла.

– Не у меня только, Китти, не у меня, ради Бога! – слышится глухой, полный отчаяния, голос Мансурова.

– Это все равно. Я не признаю брака, в котором одна сторона любить, а другая позволяет любить, и... и...

– Ты желаешь вернуть мне слово?

Китти кажется сейчас, что смерть стоит уже за её плечами и заносит тяжелый молот над её головой. Еще минута – и она или лишится сознания, или рыдая упадет к Борису на

грудь. На минуту ей точно не хватает дыхания. Она делает паузу и с искаженным лицом договаривает с таким чувством, с каким люди бросаются в бездну:

– Да, мы должны расстаться. Слышишь? Я не люблю тебя больше, Борис.

Вот оно! Кончено, произнесено последнее, роковое слово. Теперь возврат немислим даже и при желании. Словно тяжелая дверь клетки захлопнулась за её сердцем. Теперь оно будет в вечном плену; безнадежности и тоски.

Но что это? Почему Борис молчит? Почему такая огромная, длинная пауза? Почему он не негодует, не упрекает её? Какой ад в этом неведении! Во стократ было бы легче услышать поток оскорбительных упреков из его уст.

На один миг Китти почти лишается сознания. Слава Богу еще, что спинка садового дивана по дает ей упасть.

И до её отделившегося сознания доходят, наконец, как издалека, глухие, отрывисто брошенные слова:

– Да, Китти, я вас понял. Вы поступили честно, сказав мне правду. Вы правы, повторяю. Я не смею вас осуждать. Сердцу нельзя велеть любить, а потом разлюбить. Нечто высшее правит, по-видимому, чувствами, это не от нас. Я был бы безгранично счастлив вашим расположением ко мне и, конечно, не думал... Но это – не то. Простите, я не могу логически выражать свои мысли. Вы понимаете, мне тяжело. Я ведь... Ну да! Ведь у меня мое чувство к вам осталось прежнее. Простите, Китти, и... Прощайте! Я не могу оставаться

больше здесь.

Мансуров встал, приподнял шляпу.

Китти даже не пошевелилась. Её голова была запрокинута чуть на спинку скамьи, но глаза опущены; они смотрели на песок дорожки, на тени отброшенные обнаженными ветвями каштана, на кончики её маленьких туфель.

Сейчас... Сейчас Борис уйдет – останутся только мрак и пустота.

«Остановить, молить о прощении, вернуть его во что бы то ни стало!» – в последнем проблеске сознания мелькает у Китти мысль, а затем тотчас гаснет последняя искра, и глаза и мозг застилает туман.

Китти приходит в себя от раздирающего душу крика.

Кто это крикнул? Он или кто-нибудь другой? Или вовсе никто не кричал, и ей это только послышалось?

Черные кошмары сплотились вокруг Китти призрачной стеною и заплясали свой дикий танец. И кто-то произнес четко и ясно ей на ухо:

– Ну, вот и кончено, вот и все. Как просто!..

И снова заплясали отвратительный танец жуткие, бесформенные призраки.

Солнце светит по-прежнему. Играет на песке аллеи кружевная тень. Все, все по-старому, как и при Борисе во время их объяснения, но его нет. Вместо него на том месте, где несколько минут до этого сидел Борис Мансурову теперь сидит Муся.

Но что стало с девочкой? Почему у неё такое лицо, такие глаза?

– Муся, что ты? Что с тобою? – испуганно роняет, приходя в себя, Китти.

Но та молчит; только её лицо все в красных пятнах да губы дергаются; глаза неестественно расширены и лихорадочно блестят, и в них стоят слезы.

– Муся, да что же наконец с тобою? Ты больна, деточка?

Китти, сама чуть живая от пережитых волнений, протягивает руки младшей сестре. Но та вскакивает, как ужаленная, и, схватившись руками за голову, шепчет задыхаясь, упавшим голосом, в каком-то диком исступлении злобы:

– Это – низко, низко!.. Это – ужас! И я тебе этого никогда не прощу. Слышишь? никогда, Китти! И он любил тебя, мог любить – пустую, легкомысленную, неверную? Он лучше тебя, во стократ лучше. Ты недостойна его любви... Ты...

Девочка не договаривает и рыдая бежит от скамейки. Её маленькое сердечко то сжимается в комочек от непосильной боли, то как будто разрастается во всю ширину груди. Вот-вот, кажется, что разобьется оно на сотни кусков, как дорогая севрская чашка. Но пусть бьется, пусть умирает хоть сейчас; ей все равно. Разве может она жить теперь, когда так страдает он, её сказочный принц, её золотая мечта, тот, о ком она грезила все эти годы, ради кого плакала по ночам? Одна Варюша, «её совесть», знала только про эту любовь и не осуждала ей за это. Ведь эта любовь была только сказкой

– увы! – с таким печальным началом и без конца! О, да, печальным! Ведь она выросла на фундаменте безнадежности и никогда не кончится, никогда.

– Я люблю вас, Борис. Я люблю вас! – бессвязно и трогательно роняет на бегу девочка, – и, если бы это могло утешить вас, успокоить немного, я сочла бы за счастье умереть хоть сию минуту за вас.

Часть четвертая

Глава I

В старом галицийском городе N оживленно и шумно. То и дело небольшими отрядами проходят по всем направлениям войска, сменяя караулы и производя учение. То тут, то там играют оркестры военной музыки. Звенят своим настойчивым звоном звонки трамваев; гудят военные автомобили, переполненные одетыми в защитный цвет офицерами. Порою проводить пленных, исхудалых, изнуренных, целыми партиями, под гробовое молчание толпы. В каждом квартале города есть здания, над которыми веют значки Красного Креста.

А раненых все подвозят и подвозят каждое утро, каждый вечер. Теперь бой идет в нескольких десятках верст от города. Отдаленно и глухо звучит канонада.

Прислушиваясь к далекому гулу боевой канонады, скользя от одной койки к другой и оказывая помощь лежащим на них раненым, быстро движется молодая женщина по лазаретной палате. На ней скромная одежда сестры милосердия; лицо – исхудалое, осунувшееся; волосы, своим золотым сиянием похожие на солнце, тщательно запряты под белую традиционную косынку. Высокая, тонкая, изящная, она

с врожденною грацией проделывает ту прозаическую, грубую работу, для которой три недели тому назад приехала сюда в этот город, с тем чтобы, отбив положенное испытание, лететь отсюда дальше, вперед, на передовые позиции, в левой лазарет. Она помнит, с каким недоверием взглянул на нее врач, начальник главного лазарета в Варшаве, когда она пришла просить его отправить ее сюда. Как сурово он сказал: «Трудно будет вам, барышня. Эфирны вы уж, того, очень. Ну, где справитесь вам, с вашей декадентской фигуркой, с этими вот ручками?» – и враждебно (о, она помнит все это!) уставился на её тщательно отполированные ногти. Вспыхнув до ушей, она ответила ему тогда:

– Попробуйте, доктор! Может быть, и пригожусь хотя бы на черную работу. Я кончила курс у профессора Х., у меня аттестат от энской общины, я работала там-то и там-то.

Этот ответ решил дело: ее оставили на испытание, потом переслали сюда. Тут-то и началась какая-то стихийная оргия работы. Этой «сестре» некогда ни думать, ни размышлять о себе во время этой вакханалии невообразимого труда. Ночей для отдыха и сна для неё больше не существует; хорошо еще, если удастся забыться во время смены на два часа. Но она сама словно избегает их, этих часов отдыха, и, пока не свалится, как подкошенная, работает по двое, по трое суток подряд. Иногда в этом сумбуре у неё в голове проносятся недавние картины. И тогда сердце все сжимается и словно высыхает в одно мгновение. Ей чудятся снова (о, эти гал-

люцинации, не дающие ей покоя и забвения!) жуткая ночь под чужим небом, страшный кошмар насилия, совершенно-го над нею, дикие, разнузданные ласки чудовища, зверя, навеки отнявшего у неё все: и честь, и счастье, и спокойствие.

Потом встает другая картина. Бледный осенний полдень, каменная скамья в тени каштанов у балкона и тот, кого она любить до могилы, он – подле неё. Что она сказала ему тогда? Да, что он стал для неё чужим и ненужным, что её чувство погасло, замерло в ней, что она разлюбила его. Безумная, как она могла сказать это?

Пальцы «сестры», стиснутые до боли, хрустят при одном воспоминании об этом. Но то был единственный выход тогда; иного выбора у неё не было. Чужое дитя, ребенка врага, ненавистного зверя, носила она под сердцем.

И еще одна картина, ужасная, жуткая, налившая её мозг бездной отчаяния и стыда, встает перед нею. Пред тем как идти на осмотр пред поступлением в отряд сестер милосердия, куда рвалась она, Китти, еще с самого начала войны, она отправилась в дальний квартал предместья Варшавы. Ах, этот вечер, это лицо женщины с алчным блеском в глазах, с порочным ртом, вкрадчивыми манерами и этот шепот о том, неизбежном! Кажется, после отчаянной боли, страшных физических страданий она поцеловала даже это отвратительное лицо. А та мегера так обрадовалась тогда полученному щедрому гонорару, что разошлась даже до циничной шутки.

И сейчас Китти вздрагивает при одном воспоминания о

ней.

«Вот и все готово, красавица-барышня, вот и готово! – слышится ей этот отвратительный голос. – Можете завтра хоть танцевать. А в случае опять что-нибудь в том же роде... вы ведь мой адрес знаете, барышня?»

И эта заискивающая, циничная улыбка!.. О, Китти даже не помнить, как она выбежала «оттуда» в ту ночь.

* * *

– Сестра, подайте ножницы и подержите ему руку. Да успокоительного дайте ему, сестра! Где хлороформ? Позовите помощника! Что? Занять? Ну, тогда сами держите маску. Бинтов, ради Бога, побольше бинтов! Кого привезли сейчас из четвертого полевого лазарета? Не выживет? Что? Скорее губку, сестра! Да поспешите!.. Что вы хотите, чтобы он истек кровью?

Какой сумбур! Да, действительно это – какая-то вакханалия работы. Операции, перевязки, снова операции, ампутации конечностей, стоны, иногда слезы, иногда обмороки, редко крик, но чаще всего терпеливое молчание скромного русского героя, умеющего отчаянно храбро сражаться, стойко и мужественно переносить великие страдания и покорно и героически-прекрасно умирать.

Да, смерть всегда здесь, всегда наготове. Она то подкрадывается незаметно, то налетает свирепо и грубо, но явля-

ется всегда одинаково грозной и нежеланной. Однако, над этими её грозными посещениями некогда думать – на смену вырванным ею идут десятки новых, живых.

И снова загорается борьба с нею, снова врачи и сестры с мужеством и упорством отстаивают у неё, беспощадной и хищной, намеченные ею жертвы. О, их так много!

Китти кажется, что все это её братья борются, выздоравливают или умирают в этих палатах. Они дороги ей, как дорог Анатолий, как сестры, как отец и мать. Они вошли в её мысль и сердце, и она готова; дать растерзать себя на куски, лишь бы уменьшить их муки и страдания. Её прекрасные, темные глаза, ставшие вследствие худобы лица огромными (как у Мадонны, по отзыву окружающих, с восхищением отмечающих её упорство и энергию в труде), смотрят на раненых, как будто она давно-давно знает всех их, этих скромных серых героев.

Жених, семья, сестры мешали ей раньше осуществить эту ее давнишнюю мечту ухода за страждущими. Теперь все они отошли от неё далеко-далеко. И воспоминание о горе, пережитом ею еще так недавно, и её боль еще далеко не зажившей сердечной раны, – все отступает от неё в бесконечные часы, проводимые ею у белых коек! Все её существо теперь горит одною великою альтруистическою любовью доходящей до мистики, до восторга, милосердной любовью к этим скромным страдальцам-героям.

– Сестрица, испить бы! – слышит она хриплый голос с

ближайшей койки, и осунувшееся, землистого цвета лицо раненого с трудом поворачивается в её сторону.

– Лежи, лежи, голубчик Захаров, я подойду. Что, разве опять хуже стало?

– Дюже худо, сестрица.

– Может, впрыснуть тебе еще? Доктор разрешил... Помнишь, как давеча? Ведь тебе давеча после морфия полегчало?

– Так точно, полегчало малость. Вспрысни, сестрица, коли милость такая будет.

Китти твердою рукою берет шприц из кипятильника, что шумит на столе, и наклоняется к раненому. А в усталой от бессонных ночей и непрерывной работы голове медленно ползет тяжелая мысль:

«Ведь это же – самообман – все равно этот Захаров умрет. Пуля прошла слепую кишку и засела в полости брюшины. Операция невозможна, и доктор сказал – не выживет и до утра».

Вспрыснув морфий, она спешит к другому раненому. У этого почти безостановочно кровоточит рана. Надо переменить повязку, перебинтовать. Молоденький доброволец, которому час назад ампутировали ногу, пораженную гангреной, мечется в жару, бредя минувшим делом, сделавшим его калекой.

– Они идут. Они заходят с правого фланга... наперерез... наперерез. Если выбить тех, других, вон из той рожицы у

реки... У нас откроется путь соединения с нашими.

«Бедный юноша! Какие жуткие кошмары терзают его сейчас!» – думает Китти, при чем склоняется над пылающим лицом и бережно накладывает пузырь со льдом на эту горячую, большую голову.

А рядом с юношей, странно вытянувшись и пристально глядя куда-то вдаль напряженным взглядом, лежит еще один. Этот тих и важен, не стонет и не бредит больше, спокоен последним спокойствием смерти. Этому уже не нужно ничего – ни морфия, ни льда. Китти наклоняется над ним, считает пульс, слушает сердце и вскоре уже тихо закрывает мертвые глаза, убедившись, что они никогда не будут смотреть больше. Потом она неслышно скользит дальше и мимоходом зовет санитаров. Умершего надо вынести, убрать. Его места ждут десятки живых там, в коридоре, за которых она будет снова бороться до конца. А сколько еще насчитается таких жаждущих облегчения!

Нынче умерло в ночь несколько человек, и ей казалось, что она сама умирает вместе с ними. Особенно запомнился один. У него была пробита грудь, прострелено легкое, и он выплевывал его вместе с кровью и мокротой. Он был в полном сознании до последней минуты и, когда умирал, все рассказывал о жене и ребятишках или беспокоился, что не успел вынести казенный чайник из пылавшего от снарядов дома.

– Как же так, сестричка? Велено было вперед, а старые

позиции «он» из своих орудий вразнос, значить... Я впопыхах и забыл чайник. Ведь вот незадача-то, Господи! Казенное ведь добро, денег стоить, – глухо, вместе с хрипом и свистом доносились до ушей Китти.

Потом умирающий мечтал о возвращении в деревню, о встрече с женою и ребятишками и только за несколько минут до рокового конца понял, что все кончено, что смерть неизбежна. А когда понял, то заплакал горько и неутешно, как обиженное дитя.

Все сердце вымотали, казалось, эти слезы у Китти.

И умирал этот герой долга с теми же слезами, с тою же мучительною жаждою жизни, цепляясь за нее. Она ему и глаза закрыла, клятвенно обещая пред концом отправить по данному им адресу – его жене и малышам – снятый с шеи грошовый крестик, его предсмертное благословение.

Но горевать и плакать над этой трагически трогательной картиной у Китти не было времени – звали другие раненые, другие умирающие. Сестры были наперечет. Все выбивались из сил. Работали без отдыха, и все же не хватало рук. Подвозили все новые и новые транспорты раненых, не было времени ни поесть, ни поспать как следует.

Глава II

– Сестра, на вас лица нет. Выйдите хоть на минуту на воздух, а то свалитесь, смотрите. Или хоть у форточки постоит в коридоре, освежитесь немного, – озабоченно говорить заведующая транспортом старшая сестра.

– Ничего, Анна Николаевна, не беспокойтесь, это пройдет. Это от хлороформа. Я слишком низко наклонялась над оперируемым и поневоле наглоталась наркоза. До сих пор не могу привыкнуть к этому запаху, – словно оправдываясь, отвечает Китти.

– Ступайте, ступайте скорее! – уже начальническим, не допускающим возражений, тоном приказывает заведующая.

Китти выходит из операционной, где острый запах крови и сладковатый наркоз перемешались между собою, где все время пред глазами мертвенно-бледные и беспомощно распростертые на столе тела, сменяющие одно другое, все эти оперируемые люди, все это скопление человеческих страданий и мук.

Китти идет пошатываясь, как пьяная в коридор, где то и дело проносят санитары носилки с ранеными или сами раненые медленно движутся, опираясь на ружья или палки, на тех же санитаров и служителей. Стоя под форточкой, девушка глотает осенний воздух. Когда же конец, конец этой войне и вызываемым ею страданиям?

– Сестрица, вас просят вниз на минуточку, потрудитесь спуститься, – как сквозь сон, доносится до Китти голос санитаря.

Она точно просыпается. Или она действительно спала здесь, стоя под окном? Нет, должно быть, не спала, потому что в короткий миг покоя в её мозгу опять успело пронестись вереницей все пережитое в последнее время. Её отъезд из Отрадного, такой неожиданный и быстрый, особенно ярко повторился сейчас, среди сонной дремы, и поездка из Варшавы сюда, в старый, снова завоеванный русскими, город, и все пережитое здесь.

Пред нею стоит санитар в закапанном кровью переднике, уставший, измученный работою не менее докторов и сестер.

– К вам пришли, сестрица.

– Ко мне?

– К вам. Ведь вы барышня Бонч-Старнаковская будете, сестрица?

– Да, я, – удивленно вскидывает она плечами. – Вызывают меня? Но кто же это может быть однако?

И вдруг краска радостного испуга заливает лицо Китти.

«Не может быть! Ведь „он“ не знает, где я нахожусь сейчас, ни в каком случае не мог приехать», – проносится вихрем в её голове.

И тотчас же гаснет нечаянная радость в груди, охватившая ее так внезапно. Быстро-быстро выплыли откуда-то, словно из тумана, знакомое смуглое лицо, темные, серьезные, допы-

тывающиеся глаза, полные любви и муки, и исчезли, как сон. Только след острого укола остался в сердце.

– Дама или... Мужчина спрашивает меня? – с последним проблеском надежды бросает Китти на ходу санитару.

– Барышня никак.

Ну, да, конечно! А она-то что, глупая, вообразила! С какой стати «он» поедет разыскивать ее после того, как она сама оттолкнула его и унизила своим отказом?

И с дрожью еще не улегшегося волнения Китти спускается по лазаретной лестнице вниз.

Небольшая, просто, но изящно одетая женская фигура в маленькой дорожной шляпе под вуалеткой быстро поднимается со стула и идет к ней навстречу. Под сетью вуалетки улыбаются зеленовато-серые глаза, горят красноватым отблеском рыжие волосы.

– Зина, ты? – изумленно восклицает Китти. – Какими судьбами?

Та с тихим смехом обнимает двоюродную сестру.

– Не ожидала? Хорош сюрприз, не правда ли? Ради Бога, не пугайся и не волнуйся только! Тетя Соня жива и относительно здорова. Муся и Варя оказались незаменимыми сиделками после тебя. Одна Верочка кукуется, но и это в порядке вещей покамест. Все они здоровы, целуют тебя и кланяются. Дядя был у нас на день всего. Он опять привозил доктора и снова настаивал на том, чтобы все мы выбирались из Отрадного. Ходить какие-то темные слухи, что будто...

Но все это – вздор, конечно, туда не посмеют придти, это немыслимо. Да и потом в сущности, если и придут, то ведь не съедят же они нас? Впрочем, теперь, хочешь – не хочешь, а все равно не выбраться из Отрадного, – тетю немыслимо везти. Попробовали было – сделался такой припадок, как стали выводить из дома, что до сих пор её вопль стоит у меня в ушах. Естественно, пришлось покориться.

– Ну, а ты-то, Зина, как попала сюда?

– Боже мой! Да как нельзя проще!.. Ты знаешь нашу организацию по снабжению теплыми вещами защитников родины? Так вот выпросила я у председательницы, как особой милости, разрешения прокатиться с транспортом этих самых теплых вещей на передовые позиции, а по дороге захала сюда – адрес ведь ты свой прислала в открытке – повидаться с тобой, душка моя. Но ты как будто и не рада мне, злая Китти?

– Нет, нет... рада, конечно... Но это – все?

– Как все?

– Ты только за тем и приехала сюда, в Галицию, чтобы доставить на передовые позиция эти теплые вещи? Правда?

– Я никогда не лгу и терпеть не могу влянья, – говорит Зина, опуская под пристальным взглядом кузины свои заискрившиеся глаза (хорошо еще, что густая вуалетка так удачно скрывает выступившие на этих глазах слезинки), и вдруг, неожиданно припав к плечу Китти, она судорожно плачет.

– Зина, милая, родная, что с тобою?

Исхудалое, истаявшее личико Китти полно сейчас тревоги и волнения. Её худенькие руки с нежностью обвивают плечи двоюродной сестры. Она начинает догадываться о причине слез, таких неожиданных и неуместных в этой всегда жизнерадостной и задорно-обаятельной Зине. И нежная ласка и отдаленный намек на маленькую, слабую радость зажигаются где-то в самой глубине исстрадавшихся глаз Китти.

А Зина уже говорить. Без приглашения, без просьбы, трепетным, прерывистым голосом, вздрагивая от утихающих постепенно рыданий, она спешит довести свое признание до конца.

– Не могла я, не могла больше терпеть! Пойми, Китти, я извелась, измучилась. Не могу! Я люблю его, люблю до муки, до бешенства, до отчаяния, Китти, голубчик мой. Тогда, летом, каюсь тебе, я отказала твоему брату. Мне казалось, что он, наш милый Тольчик, не может и не способен серьезно любить, не может быть верным мужем. Да и сама я не любила его так, как надо. И вот, когда он приехал снова тогда, на день, помнишь? Ах, Китти, я – не девчонка, но, слушая его тогда, видя его вдохновенное лицо, вникая всеми нервами, всеми фибрами моего существа в то, что он говорил тогда с такой горячностью, с таким мужеством и подъемом, – я поняла, что втюрилась в него, в этого нового, мужественного, словно выросшего, словно постаревшего Толю, втюрилась, как девчонка. Когда он уехал, мое чувство уже пылало неугасимо, я буквально не стала находить себе места; лезли в

голову всякие ужасы. «Ведь он там, под пулями, – думалось мне. – Каждая ничтожная случайность теперь может отнять его у меня. А я, безумная женщина, не доставила ему маленькой радости, не дала ему понять, что он стал любимым и желанным для меня существом!». А тут еще эта непроходимая дурища Маргариточка всякий раз, что на него карты бросает, непременно ужасов каких-нибудь напроорочить. Ну, я не выдержала и помчалась к Тольчику. Хоть повидать его минуточку, сказать ему, как я люблю его, а там хоть умереть.

Глупо, я знаю, это – не до меня ему теперь, да и не такое время, – но чувствую, что не вынесу, лопну, если не увижу и не скажу ему. А если приведет судьба... Господи! Киттичка, да ведь я после этого душу свою и тело на растерзание отдам, в сиделки, стряпухи сюда навяжусь, всякую грязь убирать за ранеными буду. С восторгом, Китти, с восторгом! Лишь бы не прогнали, а работы я никакой не побоюсь. В сестры не гожусь: дура была – не догадалась выучиться во время, – а убирать за ранеными не Бог вещь хитрость какая, всякая сумеет.

– Зина, милая, ты ли это? Тебя ли я слышу?

– Меня, Китти, меня! – уже звенит сквозь слезы знакомый русалочий смех молодой женщины.

– Но тебя не пустят туда, где Толя, то есть, на передовые позиции; пойми, Зина, не пустят!

– Вздор какой! Хотела бы я посмотреть, как меня не пустят к нему! Конечно, под выстрелы, в окопы не пустят, но

за несколько верст до них, до отделения штаба, пускают, это я уже все отлично выведала. А тут Тольчик может урваться на часик ночью, когда затишье па фронте, и я успею сказать ему все.

– Значить, ты его любишь, Зина?

– Тольчика? Безумно. Ты этого разве не видишь сама?

– О, милая!

Китти растрогана. Она никогда не ждала от этой «рыжей Зины» такого смелого, такого красивого поступка. Конечно, пусть едет. Храни ее Бог!

Она жмет руку Зины, и только сейчас Ланская замечает страшную перемену во внешности двоюродной сестры. Как исхудала Китти! Какие у неё ввалившиеся глаза, как им некрасивым и постаревшим стало её лицо, в котором теперь совсем отсутствуют свежесть и красота. Но глаза её прекрасны, лучше, нежели прежде; они сияют по-новому, сияют великою любовью и готовностью принести жизнь на святое дело.

И вдруг, глядя в эти скорбные И прекрасные глаза, Зина вспоминает:

– Китти голубушка, совсем из головы вон: я видела его в Варшаве.

– Кого? И роняют дрогнувшие губки Китти, но сердце уже дает толчок, сердце уже знает – кого.

– Его, Мансурова, в Варшаве на вокзале. Он был в военной форме... Едет добровольцем на войну в действующую

армию. Увидел меня мельком, и так холодно, так чопорно поклонился! Хотел уйти, но я не пустила, вцепилась в него. Подумай, Китти!.. Он и война – что общего. Такой изысканный, такой барин, и вдруг грубые сапоги, амуниция, солдатская шинель. Но говорит так уверенно и энергично на мой вопрос, почему он едет на войну: «Стыдно бездействовать в такое время, когда все пульсы народа и армии должны биться в унисон. Эта война священна. Здесь, на алтаре ее, честь нашей родины, и каждый из нас, сильных, и здоровых мужчин, способных носить оружие, должен, как жрец, неутомимо охранять огонь этого жертвенного алтаря. Было бы дико сидеть мне, здоровому, сильному и молодому, и строчить бумаги в моей канцелярии, когда армии наших храбрецов...» И все в этом роде. Но что с тобой, Китти, детка моя? Почему ты так побледнела? Тебе дурно, Китти?

Китти действительно бледна сейчас. Её лицо бледнее козыньки сестры милосердия, покрывающей её маленькую головку.

С волнением и тревогой глядит на, нее теперь Ланская.

Что с Китти? Неужели ей так неприятно даже напоминание о её бывшем женихе? Или это ужасные светские предрассудки так прочно вкоренились в пропитанном условностями существе светской барышни, что ее передергивает даже только при напоминании о Мансурове, как о бывшем женихе? Как же иначе объяснить такое волнение? Ведь о любви здесь нет и не может быть речи. Любила бы, так не отказала

бы, не прогнала бы от себя. Или это жалость, так свойственная каждой славянской женщине, жалость к отверженному заставляет ее терзаться? Ох, уж эта славянская жалость и милосердие наших дам и девиц!

И рыжая головка кивает с укором.

– А ты не знаешь, в какую часть он поступил? – слышится после недолгой паузы дрожащий голос.

– Ничего не знаю; он не говорил, я не спрашивала.

– А... про... меня он тоже ничего не говорил?

– Ну, конечно же, нет, Китти! Ведь он прежде всего – воспитанный человек, человек из общества, ты же знаешь, дорогая...

– Да. Ну, прощай, Зина! Счастливого пути, мне надо идти.

– Но мы увидимся скоро. Я вернусь и буду, повторяю, молить Христом Богом взять меня хоть в сиделки сюда, где ты.

– Да, да.

Они целуются. Потом Китти бежит назад в палаты, где ее ждут сотни страдальцев, где безропотно, с трогательной покорностью несут свой крест отважные защитники родины.

Зина Ланская спешит к другой цели. Она, как маньяк, теперь только и полна одним стремлением, одним желанием: увидеть, сказать дорогому, сильному, хорошему Толе о своем безумии, о своей любви. А там не все ли равно, что: улыбка жизни или гримаса смерти?

Глава III

Четвертые сутки не умолкает канонада. Пользуясь подоспевшими резервами, австрийцы укрепились при их помощи у переправ. Трехъярусные траншеи громят тяжелыми дальнобойными орудиями наступающие по пятам за ними авангарды русских. Неприятельский арьергард находится почти в тесном соприкосновении с наседающими на него передовыми полками преследователей.

К одному из таких полков принадлежит и кавалерийский энский полк, выдвинувшийся вперед с одной батареей и несколькими ротами стрелковой пехоты, занявшей недавно еще покинутая позиции спешно бегущего неприятеля.

Четвертая сутки не умолкают неприятельские орудия занявшие выгодные позиции невдалеке от переправы, желтые «чемоданы» то и дело падают в черте расположения русского авангарда, поместившегося в линии окопов под прикрытием леса. Вдали, в нескольких верстах отсюда, как огромный костер; пылает галицийское селение. Его подожгли своими снарядами австрийцы, отчасти из мести жителям, заподозренным в отношениях с русскими, отчасти для удобства, дабы в качестве пылающего факела она могла сослужить им службу гигантского прожектора. Теперь, благодаря этому пожару, ночью почти светлее, нежели днем, и неприятельские гаубицы, мортиры и пулеметы могут безнаказанно разить круглые

сутки по нашим позициям. Взрывая воронкою землю, выворачивая с корнями деревья, срезая их на стволу, летят «чемоданы», неся с собою смерть, быть может, многим защитникам окопов лесной линии. С отвратительными воем взрываются вспышки шрапнели, и их розоватые облачка красиво расплываются в небесах. Трещат пулеметы жужжать, как пчелы, пули, то и дело между оглушительными грохотами орудий сухо звучать короткие ружейные залпы и снова злое вое шрапнель.

Энский кавалерийский полк занимает небольшой лесной фольварк, принадлежащий мелкому галицийскому помещику. Подальше от опушки находятся окопы нашей стрелковой цепи; еще дальше, на холмах за болотом, скрываются батареи. В помещичьем фольварке все опустошено и разграблено австрийцами, как говорится, «на совесть». Обезумевший от отчаяния помещик мечется по двору и пустынному дому и каждому встречному офицеру и нижнему чину в который раз уже рассказывает все свое несчастье.

– Было тихо мирно. Туда шли – ничего не тронули; от туда бежали – под видом реквизиции все унесли, разграбили, опустошили, да еще с цинизмом оправдывались: «Не мы возьмем, – все равно возьмут русские, на то и война». Но я знаю русских; русские – не мародеры, за все платят, ничего не берут даром. А тут свои же все, что было, взяли: лошадей, коров, теплое платье, ковры, все. К счастью, я жену и детей к сестре в Краков отправил, а то бы до смерти напугали их.

Он не может говорить спокойно, оп весь дрожать.

Его глаза блуждают, как у безумного; его волосы включены, и голова, поседевшая в одну ночь, трясется. Куда он денется теперь, разоренный, нищий? Где приклонить голову?

Вечером, пробравшись в опустевшую комнату дома, гостеприимно предложенная им русским, он снова начинает в который раз уже рассказывать о своем несчастье. Офицеры слушают его охотно и с сочувствием.

И от этого сочувствия тает что-то в истерзанном мукою сердце.

– Проклятая война! Будь проклят «тот», начавший ее! Неужели союзники, покорив этого безумца, не найдут ему нового острова Святой Елены, где бы он мог в заточении постичь наконец все огромное зло, содеянное им?

Офицеры слушают с волнением. Они видят, как сжимаются кулаки седого человека, каким бешенством загораются его глаза.

– А Франц-Иосиф? – напоминает чей-то молодой голос.

– Господь, прости старому императору! – осеняет себя владелец фольварка католическим крестом. – Он уже стар совсем, дряхл, несчастный император, и по слабости своей дал себя обойти этому демону, погубить ни за что свою армию, пошатнуть свой трон.

Вечер. Холодно и сыро в лесу, но в помещичьем доме еще непригляднее, еще холоднее. Затопили печи; однако, через выбитый снарядами окна вытягивается все скопившееся бы-

ло здесь тепло. Денщики кое-где раздобыли на ужин оставшиеся от разгрома продукты и хлопочут с чаем.

А канонада все не утихает, все грохочет по-прежнему. Вот с оглушительным шумом плюхнулся поблизости дома снаряд. Привязанная к молодой липе лошадь не успела издать короткое предсмертное ржанье и вместе с липой исчезла с лица земли, оставив после себя жалкие остатки мяса, костей и крови.

– Это черт знает что такое наконец! Долго ли мы будем служить мишенью этим подлецам? И ведь ударить на них нельзя, на тех, что у моста, близ которых стоят их проклятая гаубицы! Ведь, пока доберешься до них, они преблагополучно удерут по мосту, а их дьявольские батареи перебьют нас всех, как куропаток, – горячился высокий, худощавый ротмистр с короткой немецкой фамилией фон Дюн, за которую он страдал теперь самым чистосердечным, самым искренним образом.

– Разумеется, удерут, – подхватил молоденький мальчик, корнет Громов, недавно только выпущенный из кавалерийского училища.

– Ну, положим! – и ротмистр болезненно прищурился, потому что новый снаряд ударил где-то совсем близко, и с грохотом обвалилась часть стены занимаемая ими дома.

– Опять! Слышите? Что тебе, Дмитров? – обратился он к выросшему на пороге вахмистру.

– Так что, ваше высокоблагородие, двоих сейчас из наше-

го эскадрона опять насмерть, – отрапортовал кавалерист.

– Кого? – коротко бросил фон Дюн щурясь.

– Так что взводного Сакычева и Иванова третьего.

– Георгиевского кавалера?

– Так точно.

Глубокий вздох вырвался из груди фон Дюна.

– Жаль, искренно жаль!.. Храбрецы были, как и все наши, – произнес он отрывисто дрогнувшими губами.

Молоденький Громов быстро перекрестился мелкими крестиками у себя под грудью. Это он делал неизменно при каждой новой убыли из рядов полка, который любил какой-то фанатичной, исключительно-страстной любовью, какой может только любить свою избранницу еще очень юный и полный нетронутой силы и чистоты человек.

– Удивительные нахалы, право, – входя в столовую фольварка, где сидели за столом офицеры-однополчане, бодро произнес Анатолий Бонч-Старнаковский, – удивительные нахалы! И откуда у них столько наглости нашлось? Угостили мы их, кажется, на славу. Отступили они в беспорядке, бежали, как свиньи, по всему фронту, с позволения сказать, и вдруг – бац! – остановка, задержка. Откуда ни возьмись, подкрепление как из-под земли выросло, и палят себе всю теперь и днем, и ночью. Держатся и палят, палят и держатся! Черти!

– Час тому назад из штаба дивизии адъютант прикатил на автомобиле. Прошел к командиру. Что-то будет дальше? –

вынырнув из-за спины Анатолия, вставил плечистый, полный, богатырская сложения штаб-ротмистр князь Гудимов.

– Однако, это становится интересным, господа! Может быть, дадут новые инструкции? А то сил нет бездействовать дальше и только слушать эту дурацкую музыку, – горячился Громов.

– Терпение, малюточка! – усмехнулся Гудимов, – терпение! Ведь здесь не петроградские салоны и подкрепившегося неприятеля разбить – это вам не за барышнями ухаживать в гостиной. Тут горячкой ничего не возьмешь, малюточка!

«Малюточка» вспыхнул и весь нахохлился от этих слов, как молодой петушок.

– Господин штаб-ротмистр, я, кажется, не дал повода думать о себе, как о салонном шаркуне, негодном ни для чего другого, – краснея до ушей, разгорячился он.

– О, нет, Боже сохрани! – искренним порывом вырвалось у князя. – И мне жаль, если вы именно так поняли меня, голубчик. Вы – храбрец и герой, не раз уже доказали это на деле и, несмотря на молодость, успели зарекомендовать себя в боях с самой лучшей стороны. И сам я, ничего большого не прошу у судьбы, как того, чтобы мой Володька (вы ведь знаете моего мальчугана?) сделался когда-нибудь впоследствии хоть отчасти похожим на вас, – совершенно серьезно заключил ротмистр.

– Благодарю за лестное мнение, Василий Павлович! – и «малюточка», как прозвали за юный возраст корнета Громо-

ва товарищи-однополчане, покраснел теперь уже совсем по иной причине.

Его тонкие и красные, как у большинства семнадцати-восемнадцатилетних подростков, пальцы незаметно погладили пушок над верхней губой, отдаленный намек на будущие усы.

В эту минуту к находившимся в столовой офицерам присоединился еще один. Его узкие глаза искрились, губы улыбались. Он махал зажатыми в пальцах несколькими конвертами и возбужденно кричал:

– Письма, господа, письма! Фон Дюн, тебе... Князенька, и тебе тоже имеется, и тебе, Толя, есть тоже. А Громову открытка с хорошенькой женщиной. Берегись, малюточка! Пропадешь без боя, если будешь продолжать в этом роде.

– Давай, давай сюда, нечего уж!

Анатолий первый бросился к Луговскому и почти вырвал у него из рук конверт.

Знакомый, быстрый, неровный почерк. О, милые каракульки, милая небрежная манера писать! Но какое короткое письмо! Что это значить?

Он быстро пробежал строки и побледнел от радости, словно в нежные объятия заключившей сердце.

– Никс, пойдй сюда, пойдй сюда, Николай!

Когда Луговской приблизился к нему, поблескивая смеющимися глазами, Анатолий весь искрился счастьем, указывая ему на письмо.

– Ну, что такое? Создатель ты мой, что у тебя сейчас за глупая, за счастливая рожа!

– Может быть... я не знаю. Да, да, я счастлив, Никс. Пойми: она здесь и любить меня!

– Где здесь? Что такое? Ты, кажется, бредишь, миленький!

– Брось свой юмор, Луговской! Друг мой, она здесь – понимаешь? – всего в каких-нибудь двадцати верстах отсюда, и ждет меня... И просить увидеться... Только на минутку... только на минутку хотя бы. Пойми!.. И я поеду, Никс, конечно, поеду. Мы все равно бездействуем, стоим на месте и раньше завтрашнего утра не двинемся вперед. А к утру я буду обратно... Задолго до восхода буду уже здесь. Моя Коринна домчит меня в два часа туда и обратно. Боже мой! Да говори же, отвечай и посоветуй мне что-нибудь, Николай!

Анатолий стал сейчас, как безумный. Какое лицо у него, какие глаза! И тонкие пальцы, как клещи, стиснувшие письмо, сейчас дрожать.

Луговской тонко улыбнулся. В его глазах сверкает юмор.

– Вот чудачище, право! Да что мне еще советовать тебе, когда ты все сам уже решил и помимо моих советов?

– Да, ты прав, Никс. Конечно, решил и теперь бегу просить командира о двухчасовой отлучке.

– Ну, вот видишь!

– Послушай, Николай: ведь это – счастье? Да?

– По-видимому так, хотя я и не знаю, что привело тебя в

такое состояние.

– Любовь, Колька, любовь! Она любит меня... Пойми пойми, Никс! Я теперь готовь буду горы сдвинуть с места, – и Анатолий так сжал руками талью Луговского, что тот чуть не вскрикнул в голос.

– Сумасшедший, пусти!.. Гора я тебе, что ли? Их и сдвигай, коли есть охота, а я не мешаю, и меня оставь. Терпеть не могу щекотки!

Но Анатолий только махнул рукой и отошел в сторону. Здесь он тщательно разгладил смявшуюся бумажку и принялся читать письмо вторично.

«Я не могу больше молчать, маленький Толя! – стояло в неровно набросанных строках. – Думайте обо мне, что хотите, но я должна видеть Вас, сказать Вам. Я приехала сюда с транспортом белья и теплых вещей и сейчас нахожусь только в двадцати верстах от Ваших позиций. Дальше меня не пустят. Приходится вызвать Вас сюда. Сделайте все возможное, чтобы прискакать хоть на минуту. Я должна сказать Вам, глядя в глаза честно и прямо, что я люблю Вас, маленький Толя, что я – Ваша. Зина».

Глава IV

Давно отпили чай, съели все, что можно было съесть на бивуаке, и, кто как мог и где мог, стали устраиваться на ночь. Во дворе фольварка окопались солдаты. В глубоких рвах прятались они от неприятельских снарядов вместе с лошадьми. Это было много безопаснее, нежели оставаться в доме, куда главным образом и метили австрийские «чемоданы», шрапнель и пулеметы. Короткие осенние сумерки быстро и неуловимо переходили в ночь. Но и ночью здесь было светло, как днем, от пылающего гигантским костром селения, которое ярко освещало скрытый группой деревьев фольварк.

– Господа, немислимо больше оставаться в доме, – сурово произнес фон Дюн, когда новый «чемодан» с грохотом и во-ем разорвался позади окопов, обдавая людей его эскадрона осколками и землей.

Кого-то задело таким осколком, и он со стоном опустился на траву; другой, как лежал, так и остался лежать, прикинув лицом к земле.

– Готовь... еще один готов... И Бог знает, скольких они перебьют еще, пока не скомандуют нам в атаку! – чуть слышно прошептал, незаметно крестясь, юный Громов, и лицо его с игравшим на нем отблеском пожара казалось полным трагизма в этот момент.

– Командир, господа, сам командир идет. Авось что-нибудь новенькое услышим, – произнес князь Гудимов, наклоня голову, над которой в тот же миг прожужжало несколько пуль.

Действительно, своей типичной кавалерийской походкой с развальцем приближался командир части. За ним следовал адъютант-кавказец с горячими и печальными глазами грузина. Высокий, коренастый генерал с моложавым лицом быстро шагал вдоль линии окопов, негромко здороваясь с солдатами и не обращая внимания на ложившиеся кругом снаряды. Солдаты также негромко, но радостно отвечали на приветствие. Командира любили за «человечность» и беззаветную храбрость. Офицеры окружили начальника и двигались за ним.

– Что, господа, неважная позиция? Гм... гм... приходится переносить неприятности. Ничего, скоро обойдется. Получены инструкции, господа. Завтра поздравляю с наступлением. Но прежде необходимо вызвать охотников, чтобы взорвать вот этот мост, дабы пресечь им путь, – беря из рук адъютанта карту района и указывая на одну точку пальцем, отрывисто и веско бросает генерал.

– Наконец-то! – вырвался у фон Дюна с облегченным вздохом, а юный Громов чуть не подпрыгнул на месте.

– Осмеливаюсь спросить ваше превосходительство, кого вы командируете? – спросил Гудимов, и его темные глаза сверкнули.

Генерал тонко улыбнулся.

– Господа, не хочу скрывать от вас, поручение крайне опасно, почетно и ответственно в одно и то же время. Блестящее выполнение плана повлечет за собой несомненную награду, неудача же, малейший промах могут стоить смельчакам жизни. Поэтому, господа, прошу бросить жребий между собою; ни отличать, ни обижать никого не хочу. Необходимо нарядить одного офицера и пять нижних чинов. Кого именно, выберите сами или киньте жребий. Вы что-нибудь желаете сказать мне, господин корнет? – живо обратился генерал в сторону Анатолия, вытянувшегося пред ним в струнку.

– Так точно... то есть... никак нет, ваше превосходительство. Теперь не время... После жребия, если разрешите.

– Ну, конечно, конечно, – произнес генерал, окидывая ласковым взглядом офицера, которого ценил за безукоризненную службу в мирное время и за лихую отвагу на войне.

Бонч-Старнаковский вспыхнул от удовольствия. Этот ласковый тон начальства уже многое обещал ему. Там, за окопами, ждала его уже оседланная Коринна, темно-гнедая красавица-кобыла, а он знал быстроту этих тонких, точеных ног своей любимой лошади, знал, что в какой-нибудь час она домчит его за расположение штаба, где его ждет Зина, его Зина, его, его, его!

«Капризная, злая, милая, прекрасная! Я же знал, предчувствовал, что в конце концов ты будешь моею! – ликовало все в душе молодого офицера, и его сердце стучало, как молот

в груди. – Теперь на жеребьевку скорее, а там айда, туда, к ней, к милой!»

Конечно, Анатолий очень не прочь был выполнить это трудное поручение, от которого зависел завтрашний успех наступления, и с восторгом пошел бы с другими пятью смельчаками, но если бы это было в другой раз... Ведь Зина ждет, зовет... Она всего в двадцати верстах сей час от него, в эти минуты! И каждый миг дорог, каждая секунда у него на счету.

– Тольчик, ты что это задумался, братец, да еще под снарядами? Невыгодная как будто позиция для раздумья и грез! Не годится, братец ты мой, мечтать под пулями, – и Никс Луговской, весь красный от зарева пожара, улыбнулся Бонч-Старнаковскому дружественной улыбкой.

– Господа, я написал билетики и бросаю в фуражку, – крикнул князь Гудимов, вырывая из своей записной книжки одну страничку за другой. – Кому идти – написано кратко: «С Богом», остальные билетики пустые. Малютка, встряхните хорошенько фуражку и подходите! Прошу, господа!

Все окружили юного корнета и протянули руки к бумажкам.

Анатолий спокойно развернул свой билетик, и легкий возглас изумления вырвался у него из груди.

– Мне, – произнес он не то радостно, не то смущенно.

– Счастливец! – с завистью, чуть не плача, выкрикнул юный Громов.

– Черт возьми, это называется везет! – хлопнув себя по колену, проворчал князь Гудимов.

Луговской отвел в сторону все еще продолжавшего стоять в нерешительности, с развернутой бумажкой в руке, Анатолия.

– Послушай, если Зинаида Викторовна, действительно, тебя и... ты понимаешь... я всегда смогу заменить тебя, – произнес он так тихо, что другие офицеры не могли его ни в каком случае услышать.

– Благодарю тебя, Никс, – ответил Анатолий, – от души благодарю, но я перестал бы уважать себя, если бы свое личное, маленькое, собственное дело поставил выше того бесценного, святого, на которое позвала меня судьба. Я – прежде всего солдат, Николай, и, где дело идет об успехе, хотя бы и частичном, нашей армии, там ни любви, ни женщине нет места. Ну, а теперь иду, благо Коринна оседлана, а люди уже по всей вероятности готовы в путь. Готовы, Вавилов? – обратился он с вопросом к вахмистру, почтительно ожидавшему приказаний невдалеке.

– Так точно, готовы, ваше высокоблагородие.

– Ну, а кого ты выбрал, братец? Нашего эскадрона, небось?

– Так точно, нашего. Сам я да Сережкин взводный, Пиленко, Никитин и доброволец напросился, ваше благородие, заодно с нами.

– Какой доброволец?

– А к командиру барин приехавши. Во второй эскадрон назначили. Дюже просился и его захватить в дело.

– Вольноопределяющийся?

– Никак нет, доброволец. Видать, что из господ, не иначе.

– Да как же ты его так сразу? И не испытал, каков он в деле может быть?

– Так что евонный эскадронный, ротмистр Орлов, приказали просить ваше высокоблагородие, чтобы...

– Ну, коли так, то ладно; давай нам и твоего добровольца. А сам ротмистр Орлов где сейчас?

– Они у командира, сейчас только пришли.

– Ладно! Зови людей и подавай Коринну!

– Слушаю-с, ваше высокоблагородие.

Какое-то новое и радостное волнение охватило сейчас Анатолия. Точно такое же чувство ожидания скорой и близкой радости наполнило все его существо, как то, которое он испытывал, отправляясь еще мальчиком со своими родителями к пасхальной заутрене. Тогда, в те далекие, давно минувшие годы, он, маленький Толя, знал: вот подъедут в экипаже к церкви, войдут в храм он, родители, сестры, нарядные, возбужденные по-праздничному, и услышит он, как запоют «Христос Воскресе» на клиросе, и мгновенно ликующая, почти блаженная радость затопит его умиленную душу. А дома ждут уже пасхальный стол, разговенье, поздравление, подарки. А сейчас что ждет его теперь там, в этом близком, но неведомом будущем? Что он может ожидать от

жуткого, опасного предприятия, которое так же легко несет с собою гибель, как и неувядающие лавры, награду храбрцам? Так почему же в груди у него такая сладкая, тонкая, до боли острая радость?

Теперь он уже не думает о Зине, о грядущей возможности повидаться с нею. Как он далек от неё сейчас, от своих мыслей о ней, еще за минуту до этого пылавших в его мозгу мощным пламенем! Теперь все его нервы, все фибры его существа тянутся к одной цели – к тому важному и серьезно-му делу, блестящее выполнение которого зависит только от него одного. Какая ответственность и... какое счастье!

– Николай, голубчик, – отзывает он в сторону Луговского, – на два слова.

Тот подходит с серьезным, сосредоточенным видом, немного встревоженный, но старающийся быть спокойным.

– Что, братец?

– Николай, послушай! Мы с тобой – старые, давнишние друзья, и если я не вернусь оттуда, если, ну, понимаешь, черт возьми, в конце концов все может случиться... ведь не на свадьбу же я отправляюсь сейчас. Так вот передай ей, скажи ей, Никс, что я любил ее одну и любил беззаветно.

– Ну, братец, – пробует отшутиться Луговской, но углы его губ нервически дергаются. – Я думаю, Зинаиде Викторовне будет во сто раз приятнее услышать от тебя самого столь нежное слово.

– А если убьют?

- Ну, что за ерунда! Почему непременно убьют, а не явишься за наградой, за «георгием»?
- Твоими бы устами да мед пить!
- Не мед, дружище, а шампанское. Понимэ? И за «георгия», и за будущее счастье. А теперь ступай с Богом; я не сомневаюсь в успехе.
- Ни пуха, ни пера, Бонч! По старой охотничьей присказке, бери руку на счастье. Я, говорят, в сорочке родился, – и князь Гудимов с силой встряхивает руку Анатолия.
- Возьмите меня, Старнаковский, умоляю, возьмите! – хватаясь за него холодными пальцами, шепчет Громов.
- Нельзя, малютка! Вы слышали: командир назначил офицера и пять нижних чинов, и только.
- О, почему я не нижний чин в таком случае! – с отчаянием лепечет юноша.
- Главное, хладнокровие, – Бонч! Впрочем и хладнокровия и храбрости у тебя не занимать стать. Я всегда восторгался ими, – говорить фон Дюн, вызывая этими словами радостную улыбку на лицо Толи, который всегда уважал мнение этого серьезного, выдержанного и мужественного офицера.
- Спасибо! – и, повернувшись к сгруппировавшимся в стороне пяти кавалеристам, уже иным тоном и голосом Анатолий командует негромко: – Рысью, марш, марш!

Глава V

Они едут теперь гуськом по лесной тропинке, обмотав тряпками с сеном копыта лошадей. Фольварк остался далеко за ними. Впереди рысью скачет офицер. начальника крошечного отряда, за ним – вахмистр и четыре нижних чина. Последним едет доброволец. Худой, бледный и молчаливый, он погружен как будто в глубокую думу и не видит никого и ничего. А канонада не умолкает, не прерывается ни па одну минуту.

– Ваше высочордие, к самой переправе никак невозможно подобраться лесом, – шепчет Вавилов, весь вытягиваясь вперед. – Я лучше другую дорогою проведу вас к мосту. Мы уж тут были на разведках намедни, а, ежели крюка дать малость в сторону, так и вовсе в ихние позиции упремся.

Анатолий вздрагивает от неожиданности.

– Есть, говоришь, другая дорога? Ближняя?

– Никак нет. А ежели ближняя, так придется ползти картофельным полем.

– Ну, и поползем, эка невидаль! А коней в лесу оставим.

– Так точно, поползем, – покорно соглашается вахмистр, имевший было в виду совсем иные перспективы.

Теперь горящее селение осталось далеко сзади. Впереди уже редет лес и переходит постепенно в мелкий кустарник. А там дальше поле, за ним река, по высокому берегу которой

рассыпаны траншеи неприятеля. А у подножия этого берега, несколько в стороне, темнеет громада моста.

Проехали еще с добрых полверсты шагом. Теперь адский грохот орудий кажется оглушительными, непрерывными раскатами грома. Но снаряды летят в противоположную сторону, метя на фольварк и прилегающую к нему изрытую русскими окопами местность.

– Стоять! – командует Анатолий и первый соскакивает с коня.

За ним спешиваются и остальные

– Братцы, одному из вас придется остаться при лошадях и провести их другою, дальнею, дорогой, а в случае тревоги броситься на мой свист навстречу к нам.

Анатолий оглядывает всю небольшую группу солдат. В полутьме не видно их линь, но Анатолий чутьем угадывает, что каждому из этих лихих кавалеристов было бы приятнее идти за ним, нежели оставаться и ждать на страже. Его взгляд, стараясь разглядеть пятую, оставшуюся как бы в стороне, фигуру, напрягается, но не может ничего разглядеть.

– Я думаю, что тебе, как новичку, лучше всего будет подежурить при лошадях, братец, – обращается Бонч-Старнаковский к добровольцу, лицо которого тщетно силится рассмотреть во мраке.

– Ради Бога разрешите мне следовать за вами, господин корнет! И если только моя жизнь может пригодиться вам, то я с восторгом пожертвую ее для успеха предприятия, –

слышит он слегка взволнованный, донельзя знакомый голос.

Что такое? Или он ошибся? Не может быть! Трепетной рукой Анатолий выхватывает из кармана небольшой потайной фонарик, наводит свет в лицо говорящему и с легким радостным криком бросается к нему.

– Мансуров! Борис, голубчик! Какими судьбами? – растерянно и смущенно вырывается у него из груди.

– Такими же, как и все. Не мог устоять, как и многие. Вспомнил былое время, когда в дни молодости совершенствовался в верховой езде, рубке и стрельбе. Теперь это искусство пригодилось, как видишь. Был у командующего в Варшаве, просил, как особой милости, назначить в ваш полк, хотел служить с тобою вместе. Или ты не рад этому? – заканчивает Мансуров по-французски, чтобы не быть понятым окружающими их солдатами.

– Рад, конечно рад, дружище... Так рад, что растерялся, как видишь, – тоже по-французски отвечает Анатолий. – Я всегда любил тебя, Борис, как родного брата, и, признаться, возмущался до пены изо рта, когда узнал, что Китти...

– Оставим это. Твоя сестра была вольна поступать по своему усмотрению, – с чуть уловимой ноткой холода перебивает его Мансуров. – А вот лучше, будь добр, окажи мне услугу: захвати меня с собою к мосту. Может быть, я и смогу быть тебе полезен.

Пять человек сейчас бесшумно и быстро пробираются густым, низким кустарником. Согнувшись в три погибели, они крадутся неслышно, как кошки, под темным покровом ночи. Зарево пожара, отброшенное западным ветром в противоположную сторону, дает сюда только легкие отблески, слегка освещающие поляну и берег. Иногда сноп прожектора с неприятельских позиций быстрой и яркой стрелой прорезает тьму, но кустарник, глухой и низкий, не дает возможности нащупать скрывающийся под его сенью крошечный отряд охотников. А они все ближе и ближе придвигаются к цели.

Временное затишье, наступившее на неприятельских позициях, дает возможность слышать гул многих голосов, шум австрийского лагеря, сигналы и переключку караула. Машина моста, кажущаяся темным чудовищем, находится в стороне от позиций. Там царит сравнительная темнота; предосторожность, принятая против снарядов русских, направленных в эту сторону, заставила неприятеля позаботиться о ней.

– Вавилов и ты, Борис, – говорить Бонч-Старнаковский. – Вы обойдете кругом и снимете часовых. Старайтесь сделать это бесшумно. Когда будет готово, дадите нам знать, ну, хотя бы криком совы. По карте, в шестистах шагах от моста покинутый поселок. Задворками его вы подберетесь к караулу по

берегу. Мы поползем полем; я сам заложу под мост взрывчатые шашки. Когда я свистну, всем бежать к поселку. Я приказал Никитину доставить туда навстречу нам лошадей. Ну, а теперь помогай Бог, братцы! Вперед!

– Все будет исполнено, – твердо произносит Мансуров и вместе с Вавиловым словно тотчас же проваливается сквозь землю.

Малорослый, едва доходящий до пояса взрослому человеку, кустарник уже кончился. За ним лежит темное и влажное от ночной сырости картофельное поле. Приходится лечь плашмя на землю и ползти змеею, не отделяясь от этой мокрой травы. Холод и сырость дают себя заметно чувствовать Анатолию. Зубы его дробно стучать. Он стискивает их с силой и, хотя весь смок от росы, по-прежнему продолжает пробираться вперед ползком.

– Ваше высокоблагородие, никак мы уже близко, – шепчет за ним Сережкин, – так что его дюже хорошо слышать. Близехонько он, значить.

Действительно, неприятельская позиция теперь от них находится всего в каких-нибудь пятидесяти шагах, и огромная махина моста неожиданно вырастает пред ними. Там дальше траншеи на холмах на левом фланге линии, там артиллерия и окопы. Здесь же как будто вымерло все вместе с покинутым маленьким поселком.

Анатолий приподнимается на локте и смотрит внимательно, силясь разглядеть что-либо в полутьме. Низкорослый ку-

старник тянется до самого берега. Здесь река дает выгиб, и до моста теперь рукой подать.

– Не робей, братцы, за мною! – шепчет он.

Спина ноет от неестественного, согнутого положения, руки заоченели от сырости и холода. Но это – вздор, пустое в сравнении с тем, что им предстоит. Они уже не ползут дальше, а идут, скорчившись в три погибели, стараясь не превысить фигурами высоты кустов. Вот уже совсем близко желанный мост и берег. Чуть слышно поблизости плещет река. И опять гул голосов, долетающий слева, с неприятельских позиций, то и дело нарушает тишину ночи.

Они теперь идут уже вдоль берега. Вот вошли в заросли камыша. Зашуршало что-то.

Остановились, замерли от неожиданности и испуга с холодными каплями пота, мгновенно выступившая на лицах. Ничего как будто...

Снова тишина. Стоят все трое с минуту и ждут прислушиваясь. Все опять тихо.

Вдруг желанный крик совы нарушает тишину. Это значить, что часовые сняты... бесшумно сняты.

«Экие молодцы!» – и, просияв от счастья, Анатолий первый быстро и легко проползает под мост.

Пироксилиновые шашки при нем; фитили, патроны динамита и спички тоже. Лишь бы не отсырели. Он прятал, как сокровище, эти смертоносные орудия взрыва. Теперь можно и приступить.

Слава Богу, они у цели!

Двигаясь в темноте между сваями по колено в воде, Бонч-Старнаковский нащупывает первый столб. Острым кинжалом сделав отверстие, он осторожно вкладывает в него динамит.

То же самое проделывает, по его указанно, Сережкин у другой сваи. Еще минута, и фитили подожжены.

– А теперь марш обратно! Живо! – командует Анатолий.

– Скорее, скорее! – откуда-то с берега слышится придуренный голос Бориса.

Опять резкий – уже двоекратный – крик филина пререзает относительную тишину. Это оставшийся при лошадях Никитин дает знать, что успел проскакать объездом и ждет их со стороны поселка.

Теперь, уже не соблюдая прежней осторожности, спеша и волнуясь, Анатолий и Сережкин быстро-быстро несутся от обреченной на гибель громады моста.

К ним присоединяются вынырнувшие из мрака Вавилов и Борис.

– Бесшумно... духом справились с обедами: накинули веревки на шею. И не вскрикнули даже, – прерывисто докладывает на бегу первый.

– Молодцы! – начинает Анатолий, – я так и...

Он не договаривает. Оглушительный, громоподобный гул с ужасным треском раздается за их спиной, вся махина моста по эту сторону реки взлетает, как щепка, вместе с огнем,

дымом и осколками к небу.

Словно внезапно проснувшись, грохочут ему в ответ неприятельские пушки. И тотчас же вслед за этим сноп австрийского прожектора освещает поле, лес, русские позиции в фольварк, и крошечную группу людей, несущуюся стрелой от места взрыва.

От неприятельских траншей отделяется другая группа, во много десятков раз сильнейшая по количеству всадников. Полуэскадрон мадьяр вылетает с австрийских позиций и несется вдогонку за этой горстью смельчаков.

– Ну, Коринна, не выдавай, милая! – шепчет Анатолий на ухо своей лошади.

Шпоры вонзаются в крутые бока красавицы-кобылы, и она с налившимися кровью глазами, вся натянувшаяся, как стрела, летит вперед.

Целый град пуль летит вдогонку за беглецами. Мадьяры стреляют на скаку, не целясь, и орут что-то (что именно – не разобрать: не то «виват», не то «сдавайтесь»). Направленные в сторону этой ничтожной горсточки людей орудия посылают в них снаряд за снарядом. Они то и дело шлепаются по близости.

– Недолет, – глухо выкрикивает Анатолии всякий раз, когда результата удара уже очевиден, и все поддает и поддает шпорами быстроту бега Коринны. – Перелет, – торжественно вскрикивает он, когда разрывается далеко впереди страшная граната.

Но вдруг Бонч-Старнаковский сразу смолкает при новом ударе.

Коринна, как-то странно дрогнув задними ногами, подскакивает вверх и тяжело валится па бок. В тот же миг какой-то страшный толчок заставляет Анатолия податься вперед, перелететь через голову окровавленной лошади и распластаться навзничь в пяти шагах от неё. Точно темная, непроницаемая завеса задергивается в ту же минуту над его головою.

– Стой, братцы, корнета убили! – и Мансуров на всем скаку удерживает своего коня.

Маленькая группа всадников останавливается тоже.

Рискуя собою, пренебрегая падающими вокруг снарядами, Борис Александрович быстро подбегает к упавшему. С минуту он не разбирает ничего.

– Жив, кажется, жив, – шепчет он, наклоняясь над беспомощно распростертым телом.

Легкий стон как бы подтверждает его слова.

– Братцы, не выдавай своего начальника! – срывается с губ Мансурова, и рот у него высыхает от волнения сразу. – Давайте мне раненого, я доставлю его до наших позиций, – говорить он, тотчас же вскакивая в седло.

Солдаты осторожно, почти нежно поднимают окровавленное тело и молча, с суровой сосредоточенностью передают его па протянутые руки Бориса. Мансуров обвивает одной рукой плечо раненого, другую туго натягивает поводья.

– Вперед! – командует Вавилов, заменивший сраженную начальника, – они уже совсем близко, спасайся братцы!

– А мост все-таки взорван! Слава Тебе, Господи! – слышен тихий, как шелест листьев, шепот Анатолия, – и теперь им уже некуда будет отступать.

И Борис Александрович видит, как слабо трепещет рука раненого, делая усилия перекреститься.

Глава VI

Снова вечер, мокрый, дождливый, осенний. Снова в большой столовой Отрадного ярко светит электрическая лампа и четыре женские фигуры сидят за столом. Впрочем, сидят только трое над остывшими чашками чая, четвертая же маячить из угла в угол по комнате. Муся и Варюша тесно прижались друг к другу, и в глазах у обеих явное смятение и страх. Маргарита Федоровна трясущимися, холодными руками перетирает чашки. Вера шагает крупными шагами от окна к печке и обратно и от времени до времени похрустывает пальцами.

А за окном мрак. Ночь и тоска, тоска и ужас. Дождливая октябрьская ночь, жуткая своей чернотой; однообразно и гулко шлепают капли дождя по крыше дома; глухим, угрожающим воем воеет ветер; трещит навязчивыми звуками нудная трещотка ночного сторожа.

В этот хаос тоскливых, душу выматывающих звуков вдруг неожиданно врываются новые – тихие и певучие звуки флейты. Они несутся из флигеля, почти примыкающая к господскому дому. Это новый управляющей, заменивший отрешенного хозяином от должности Августа Карловича, дилетант-флейтист, каждый вечер услаждает себя игрою на флейте.

Как-то странно дисгармонируют эти нежные, тонкие, пе-

вучие звуки с глухим осенним туманом за окном; и не радуют сердца эти звуки.

Девушки молчат. Муся машинально постукивает ложечкой по блюдцу и думает о Борисе. Зина написала им с дороги, что встретила его, что он думает поступить в действующую армию. Куда, в какой полк, – не спросила. Ну, что же, пускай! Теперь ничто уже не испугает и не удивит Муси. Убьют, не убьют – все равно: её любовь останется одинаковой как к мертвому, так и к живому. А что касается до него самого, то, раз душу его убила Китти, разве смерть – не лучшее, что он может желать? А где-то теперь сама Китти? По-прежнему во Львове сестрой или пробралась дальше? Где Тольчик, милый, родненький Тольчик, всеобщий любимец? Как давно нет известий о них! И Зина не возвращается. Неужели нельзя возвратиться, нельзя получать известий оттуда потому только, что «они» идут «сюда»? И неужели правда, что «те» идут «сюда»... идут к Ивангороду и к Варшаве. Боже, как близко от них! А уехать нельзя: маме опять хуже. Теперь у неё уже ежедневно повторяются припадки, да и общая болезнь прогрессирует. Начался отек ног. Если ее тронуть с места, она умрет в дороге. А без неё ни Муся, ни Вера не решатся ехать. Впрочем, Вера говорит, что и незачем ехать, что немцы – не варвары, что с женщинами они не воюют, а держат себя рыцарями, и что если и явятся сюда, то не причинять им ни малейшего беспокойства. Хороши рыцари! А что они сделали с Льежем, Брюсселем, Лувепом?

Муся при одном этом воспоминании сотрясается всем своим худеньким телом и роняет ложечку на пол.

– Ах, Господи, вот напугали-то! – внезапно вскрикивает Маргарита Федоровна.

– А вы думали, немцы? – пытается пошутить девочка.

– Типун вам на язык, Мария Владимировна! Эдакий ужас, подумать надо, сказали! Да я о них, зверях, гадах этаких, и думать-то боюсь, а вы еще пугаете! – с искренним страхом и негодованием восклицает хохлушка.

– И очень глупо делаете, что боитесь, Маргоша, – неожиданно подходя к столу, говорит Вера. – Бояться, в сотый раз повторяю, вам нечего. Немцы – культурные люди, а не дикари, и никого не съедят.

– А как же в газетах-то... Ведь сами об ужасах читали...

– Врут ваши газеты, вздор пишут, раздувают все! – резко восклицает Вера. – А вот доведись немцам придти сюда...

– Чур вас! Тьфу, тьфу! Чур вас, что еще выдумаете! – замахала на нее руками Маргарита.

– Так сами увидите, – не слушая её, продолжает Вера. – Смешно и глупо бояться европейскую, просвещенную нацию, как каких-то краснокожих дикарей.

– Они хуже дикарей, Верочка, хуже! – звенит натянутый, как струна, голосок Муси.

– Не говори глупостей! – строго обрывает ее сестра. – Разве Рудольф – дикарь? Самый обыкновенный молодой человек, каким дай Бог быть каждому русскому из тех же пред-

ставителей нашей jeunesse doree¹¹. А Август Карлович что за милейший старик!

– То-то и видно, что милейший, – капризно надувая губки, продолжает Муся, – то-то и видно, если этих милейших людей папа за порог дома выгнал!

Все смуглое лицо Веры внезапно заливается густой краской при этих словах.

– Молчи и не рассуждай о том, чего ты сама не понимаешь! – строго говорить она младшей сестре. – А сейчас советую тебе идти спать. Это будет по крайней мере самое лучшее – поменьше глупостей говорить будешь.

– Адски остроумное решение, нечего сказать! – ворчит себе под нос девочка.

– Пойдем, Мусик, право! – ласково уговаривает подругу и тихая Варюша.

– Чтобы валяться без сна в постели и вздрагивать при каждом стуке? О, Господи! Но, если тебе так этого хочется, Верочка, я пойду, – тотчас же смиряясь, соглашается Муся и, поцеловав старшую сестру, покорно выходит об руку со своей «совестью» из столовой.

Вера смотрит ей вслед смягчившимися глазами.

Вслед затем она говорить:

– Бедная девочка, как она изнервничалась! Да и все мы нервничаем, все выбиты из колеи. Болезнь мамы, война, все эти ужасы хоть кого с ума свести могут.

¹¹ Золотой молодежи (*фр.*)

Она присаживается к столу и смотрит на Маргариту Федоровну усталыми, встревоженными глазами. Она машинально следит за тем, как та перебирает дорогой севрский фарфор, потом безмолвно встает и направляется к двери. В смежной со спальней больной матери комнате Вера стоит несколько минут, чутко прислушиваясь к тяжелому дыханию спящей за дверью, а потом проходить к себе.

Она спит в бывшей комнате Китти, перебравшись сюда с момента отъезда старшей сестры, чтобы быть каждую минуту готовой помочь больной среди ночи.

В этой комнате жила когда-то, очень давно, их бабушка, мать отца, словно передавшая ей, Вере, свой темперамент, свою способность любить насмерть и весь скрытый трагизм страстности её натуры. Недаром она так полюбила и Веру и оставила ей все, что имела, после себя. Она точно предчувствовала, повторение себя, своего типа, в этой тогда еще крошке-девочке. Уже будучи матерью женатого сына, покойная Марина Бонч-Старнаковская бежала с красивым поляком, австрийским гусаром, к нему на родину. Когда же красавец-австрияк разлюбил ее и променял на другую, более молодую, любовницу, Марина Дмитриевна, вернулась в Отрадное с тем, чтобы поцеловать маленьких тогда внучат, особенно свою любимицу Веру, испросить прощения у мужа и покончить самоубийством. Ее вытащили мертвую из пруда, отнесли к обезумевшему от горя мужу, простившему ей все и обожавшему эту странную и мятежную до седых волос жен-

щину.

Вера знала, что в её жилах течет та же горячая, не знающая удержу, кровь бабки Марины Дмитриевны. Недаром и похожа она на нее, как две капли воды.

Неужели и ее ждет такая же печальная участь?

Нынче она думает об этом снова и бледная, встревоженная подходит к окну. Дождь идет не переставая, и звуки флейты еще поют там, среди ночной темноты. Когда замолчит этот Размахин? Душу надрывает его игра! С нею острее чувствуются боль тоски и муки воспоминаний.

«Что-то он делает теперь? Где он сейчас?»

– Где ты, солнышко мое? Где ты, моя радость? – страстно шепчет девушка, протягивая вперед смуглые тонкие руки.

В течение этого времени разлуки она не охладела, не изменилась к Рудольфу; наоборот, её чувство как будто выросло и окрепло, и нет ни одного часа на дню, чтобы она не думала о нем.

* * *

Муся просыпается среди ночи и садится встревоженная на постели.

Прислушавшись, она говорить спящей тут же подруге:

– Варюша, проснись... Что это такое? Как будто пожар? Ты слышишь? Что это за шум, Варюша?

Темная головка «мусиной совести» с трудом отрывается

от подушки, спокойный голос бормочет спросонок:

– Спи, спи! Чего тебе не спится? Еще рано! Спи!

Но шум многих голосов, какие-то крики, пыхтение автомобиля, лошадиный топот и ржанье, ворвавшееся как будто во все углы и закоулки усадьбы, сразу протрезвляют заспавшуюся Карташову.

– Боже мой, Мусик! Неужели же это – немцы?

Муся вся съеживается от ужаса.

– Так скоро, не может быть?

– Ах, Господи, все может быть в это ужасное время! Одевайся скорее! Или нет, постой, я раньше посмотрю.

Варюша вскакивает с постели и бежит к окну босая, похолодевшей рукой отдергивает штору и с криком отступает назад, в глубь комнаты.

На дворе светло, как днем. Несколько ручных фонарей движутся во всех его направлениях. Огромный костер пылает на площадке пред домом. Вокруг него стоят какие-то люди в касках и шинелях в накидку. Они кажутся сейчас ичадиями ада в неверном освещении костра. Привязанный к деревьям лошади фыркают и ржут. В стороне пыхтит автомобиль. Кто-то отдает приказания твердым, громким, энергичным голосом.

Муся вздрагивает всем телом и спрашивает подругу:

– На каком языке он говорить, Варюша? Что?

– Немцы! Немцы пришли! Все пропало! – шепчет вместо ответа та, и лицо у неё и губы сейчас белы от ужаса.

Где-то за стеною слышится негромкий, жалобный плач женщины.

– Ануся! Боже мой, это плачет Ануся. Или Верочка? Верочка, сюда, к нам! – лепечет растерянная Муся и бесцельно бегаёт по комнате, хватая ненужные, попадающиеся под руку, предметы, торопливо одеваясь и наскоро закалывая косы.

– Одеваться... одеваться скорее! – роняют дрожания, бледные губы Карташовой.

Стук в дверь, сильный и резкий, заставляет девушек рвануться друг к другу, и замереть так, обнявшись, молча, с округлившимися от ужаса глазами глядя на дверь.

– Успокойтесь, девочки, ради Бога! Это – я, Вера.

– Боже мой! – восклицает Варя. – А мы думали...

– Нечего бояться. Вот дурочки! И чего вы боитесь? Ну, да, немцы здесь. Неприятельский отряд зашел сюда, по дороге к крепости... Кажется, драгуны. Офицеры были очень корректны и просили разрешить им через управляющего пробыть на постое в усадьбе с эскадроном одну эту ночь. Я велела сказать, что мама больна. Они обещали быть тихими. Солдаты расположились во дворе, офицеры в доме. Я распорядилась подать им ужин.

– Ужин нашим врагам? – почти с ужасом восклицает Муся, отскакивая от сестры.

– Что ты хочешь, девочка? – останавливает ее та. – Лучше мы сами предложим им, нежели они...

– Но ведь ты говорила, что они – рыцари. Так по какому

же праву они требуют?

– По праву воюющих. Что вы? что вам надо, Маргоша? – неожиданно обращается Вера к хохлушке, в эту минуту, как пуля, влетевшей в комнату.

Та, задыхаясь от волнения, молчит несколько секунд и лишь затем отвечает:

– Вера Владимировна, голубочка моя! Да что же это такое? Да есть ли силы терпеть эти гадости, мерзости эти! Вы им ужин приказали подать, а они шампанского и коньяка требуют. Я по-ихнему бормотать не умею, а Ануська научилась... Она у Августа Карловича долго жила. Ей немчуры таких пакостей наболтали, что девчонка сама не своя, сейчас ревет, ручьем разливается.

Вера прерывает ее:

– Пойдите, пойдите, Маргоша! Толком объясните, кто наговорил и что и кто шампанское требовал. Ничего не понимаю.

– Все требовали, все галдели... и старший их. Гостию сюда, видите ли, еще из своих какого-то ждут, так угостить хотят чужим добром на славу. И еще, голубочка Вера Владимировна, хотела я севрский сервиз да серебро спрятать, так куда тебе: присосались к ним они, прости Господи, как клещи.

Лицо Веры нахмуривается, в глазах видно недоумение, но она все же говорить:

– Дайте им все, что надо, лишь бы не напугали мамы.

– Да, вот еще: вас они требуют...

– Как это требуют? Кто смеет требовать? – и стань Веры выпрямляется, а глаза зажигаются гневом и начинают сверкать.

– Ануся говорить. Ей приказали. «Веди, – говорить, – сюда твоих молодых хозяек; нам скучно ужинать без дамского общества. Да и сама, – говорит, – приходи; и на тебя, – говорить, – охотники найдутся».

– Что? – Губы Веры дергаются, тревожный огонь загорается в глазах. – Я выйду к ним. Мне кажется, здесь что-то не то, очевидно, какое-то недоразумение, – взволнованно говорить она и твердыми шагами направляется к двери.

Вдруг Муся вскидывается, как птичка, со своего места и поспешно бросается за нею.

– Не пущу тебя одну, не пущу, ни за что! Вместе пойдем, Верочка, пойдем вместе! – лепечет она, цепляясь за платье сестры.

– И я, и я тоже! – присоединяет к ней свой дрожащий голос и Варюша.

– Ой, напрасно, барышни, ой, куда лучше было бы задними ходами да прочь отсюда! – останавливаем их. Маргарита. – Сердце мое чует беду, да и карты в последние дни плохо показывали: все слезы и кровная потеря выходила. Уж куда лучше было бы бежать!

– Бежать без мамы? А как мы с мамой убежим? – тихо роняет Муся.

– Вздор один! Никуда мы не убежим, никуда нам бежать не надо, да и никаких ужасов в том, что немцы пришли сюда, еще нет. Конечно лучше всего обратиться к их командиру или начальнику и попросить его покровительства, – и Вера, говоря все это, хмурит свои черные брови.

Муся чувствует себя при этих словах, как под ударом бича.

– Просить покровительства у наших врагов, – восклицает она, – у людей, которые убивают мирных жителей, насилуют женщин, приканчивают раненых? Да я скорее дам себя расстреле...

Девочка не доканчивает. В соседней комнате слышатся звон шпор и громкие голоса.

Проходит еще мгновение – и у дверей появляются четыре высокие фигуры в офицерских мундирах прусского кавалерийского полка.

– Guten Abend, meine Fraulein!¹² – говорит высокий, белокурый офицер, беглым взглядом окидывая четырех сбившихся в тесную группу девушек, и делает общий поклон.

Кланяются и остальные трое, с порога комнаты с любопытством разглядывая этих испуганных обитательниц дома.

– Не волнуйтесь, барышни, – говорит первый офицер по-немецки, – и успокойтесь, пожалуйста! Никто не причинит вам ни малейшего вреда. Напротив, мы все – я и мои товарищи – просили бы вас оказать нам честь и отужинать за сто-

¹² Добрый вечер, барышни! (нем.)

лом вместе с нами.

Новый поклон и продолжительная пауза.

Вдруг Муся с горящими ненавистью глазами выступает вперед.

– Милостивый государь, – отвечает она по-немецки звонким, рвущимся на высоких нотах голоском, – я и моя сестра настоятельно просили бы вас вот именно избавить нас от этой чести.

– Муся, Муся, безумная! – испуганно шепчет Вера, изо всех сил дергая девочку за руку. – Что ты говоришь, Муся?

Пруссаки опешили в первый момент.

Однако белокурый нахмурился и снова говорить:

– Но почему же? Я не вижу пока никакой причины пренебрегать нашим обществом.

– Муся! Ради Бога, Муся! Ты погубишь нас! – лепечет чуть слышно бледная, как смерть, Карташова.

Но девочка только встряхивает в ответ кудрями и, пряча презрительную улыбку, готовую соскользнуть у неё с губ, отвечает с великолепным жестом королевы:

– Хорошо! Скажи им, Верочка, что мы окажем им эту честь, но я надеюсь, что и они не заставят нас раскаяться в нашей любезности.

Вслед за тем Муся первая с гордо поднятой головой проходить мимо озадаченных пруссаков.

Глава VII

Все комнаты старого дома нынче освещены, как в дни празднеств. В столовой сегодня особенно ярко и светло. Горят все свечи в люстре, все лампочки и бра на стенах. За столом сидят несколько прусских офицеров с ротмистром во главе. Сам он уже не молод, но, по-видимому, не прочь провести время в обществе интересных женщин и барышень. Его глаза то и дело обращаются в сторону Веры, которая, по настоянию непрощенных гостей, заняла за столом место хозяйки дома. Муся и Варюша сидят молча, с вытянутыми лицами и поджатыми губами. В лице первой запечатлелось выражение ненависти и гадливости, а черты Варюши искажены страхом. Обе они молчат, несмотря на все старания немцев втянуть их в разговор. Маргарита Федоровна не садится; она хлопочет с закуской и ужином, помогая Анусе, ошалевшей от страха. Вся остальная прислуга разбежалась и спряталась, где кто успел.

Немцы едят так, как будто не имели во рту ни кусочка всю неделю, но пьют еще больше. Поминутно сменяются бутылки на столе и хлопают пробки от шампанского. Их лица покраснелись, языки развязались. Шутки стали нахальнее, смелее.

Маленькие глазки ротмистра уже все чаще и чаще останавливаются со странным выражением на строгом лице Ве-

ры; ему положительно импонирует эта оригинальная внешность русской. Он любит таких смуглых цыганок с черными этакими глазищами. Надоели, приелись белобрысые, бесцветные Амальхен и Клерхен там, у него на родине.

А четыре молодые лейтенанта увиваются вокруг подростков. Один из них, с рыжими распущенными, как у кота, усами, особенно липнет к Мусе. И белокурый – тот, что пришел к ним во главе депутации приглашать их к ужину, тоже не отстает от него. За Варюшей, испуганно и растерянно мигающей от страха, увиваются тоже двое пруссаков: один – совсем еще молодой, другой – толстый, круглый, с осовевшим от вина взглядом. Три других офицера мало обращают внимания на девушек и исключительно занялись ужином и вином.

Вдруг осовелый от шампанского белокурый офицер наклоняется к Мусе, и, прежде чем она успевает крикнуть и отстраниться, горячие, пропитанные запахом сигары и вина, губы касаются её похолодевшего маленького ушка.

– Что? Как вы смели? Как вы смели? – топя ногами, кричит девочка с искаженным от отвращения и гнева лицом.

Ротмистр, только что доказывавший Вере всю несправедливость создавшаяся о немцах в России мнения, выставяющая их с самой отрицательной стороны, бросает в сторону молодежи быстрый, тревожный взгляд и тотчас же останавливает им офицеров.

– О, ничего особенная! – говорить он. – Не беспокой-

тесь, барышня, это – только маленькая шутка. Молодежи так свойственно увлекаться. И что в сущности убудет от вас, милая барышня, если вас поцелует один из героев прославленной прусской армии?

Но его блестящая речь пропадает даром; Вера поднимается возмущенная со своего места, её щеки вспыхивают, глаза загораются.

– Послушайте, – начинает она с пылающим лицом, – мы надеялись, что имеем дело с джентльменами, а вы... а вы позволяете себе оскорблять беззащитных девушек. Стыдитесь, господа!

– Оскорбляем беззащитных девушек? Ха-ха-ха!.. Но вы преувеличиваете, барышня! – легкомысленно смеется ротмистр. – И какое может быть оскорбление в том, что господин лейтенант позволил себе наградить поцелуем понравившуюся ему хорошенькую девушку?

– Но вы забываете, что эта девушка – не какая-нибудь Эмма или Лизхен, маленькая мещанка из предместья Берлина, а русская дворянка... Мы – Бонч-Старнаковские, сударь, – вызывающе говорит Вера, глядя в заплывшие жиром глазки начальника отряда.

– Это подло! Это низко! – бросает в свою очередь Муся, и глазенки её сверкают от негодования, и вся она дрожит. – И если вы осмелитесь еще раз прикоснуться ко мне, то я... то я...

Но возбуждение этого свежего, прелестного ребенка силь-

нее шампанского ударяет в голову белокурого пруссака. В его мозгу тяжело бродят два хмеля: один – от близости свежей, юной девушки, другой – от выпитого через меру вина.

– Бутончик! Белый розанчик! – шепчет он, сопровождая свои слова плотоядным взглядом, и протягивает к Мусе, разгоряченной гневом, свои трясущиеся руки.

– Подлый немец! Посмей только, посмей! Я ненавижу тебя... ненавижу всех вас с вашим ужасным войском, с вашим безумным кайзером... всех ненавижу и проклинаяю! – звенит теперь на весь дом отчаянный крик Муси, и, перебежав комнату, она бросается как бы под защиту на грудь Веры.

– Что такое? Что вы сказали? – слышатся со стороны немцев угрожающие голоса.

Теперь офицеры повскакали со своих мест и, шагая неверными, подгибающимися от хмеля ногами, окружили девушек.

– Да знаете ли вы, что за такие слова... – начинает ротмистр, хватаясь за стол и всячески стараясь соблюдать равновесие.

Рев автомобиля, раздавшейся во дворе, прервал его дальнейшую тираду.

– Это – он!.. Наконец-то! – обрадовались кому-то немцы.

Прошло еще с пару минут, и в соседней комнате раздались твердые шаги. Зазвенели шпоры, и вновь приехавший молодой прусский офицер стремительно вошел в комнату.

Все взгляды немедленно обратились к нему.

– Наконец-то и вы! Признаюсь, вы умеете заставлять себя

ждать, коллега! – и ротмистр первый шагнул навстречу вошедшему.

Вера взглянула на него и в тот же миг отшатнулась с криком счастья и неожиданности:

– Рудольф!

Да, это был он. В блестящем мундире штабного офицера, изменившийся до неузнаваемости, с печатью апломба на холке, самодовольном лице, это был тем не менее он, любимый ею безумно, Рудольф Штейнберг. Так вот какого гостя ждали прусские драгуны еще сюда!

«О, если так... Великий Боже, не шлет ли его сама судьба к нам на помощь... его, Рудольфа?» – обожгла Веру радостная мысль.

Вера протянула руки и с преобразившимся от счастья лицом пошла к нему навстречу.

– Рудольф! Рудя! Я знала, что вы вернетесь, что вы вспомните о нас, – прошептала, как во сне, девушка, с восторгом и нежностью глядя на офицера.

Но он не двинулся с места, а насмешливо оглядывал ее с головы до ног.

– Что такое? Вы ждали меня? – язвительно переспросил он после бесконечной паузы. – Ждали, после того, как ваш драгоценный папахен выгнал меня, как собаку, из своего дома, и не только меня, но и моего ни в чем неповинного отца? Вы очень самонадеянны, если думали, что все это не повлечет за собою наказания, отмщения, всего, что хотите, с моей

стороны.

Что? Что он говорить?.. Рудольф? Какого отмщения?

И после короткого молчания Вера еще раз попыталась обратиться к нему.

– Нас оскорбляют, Рудольф. Заступитесь за нас! – прошептала она теперь тихо и беззвучно.

Штейнберг смотрел на нее по-прежнему насмешливо и дерзко, потом подошел смеясь.

– Что? Да разве победители могут оскорблять? Ха-ха-ха! Что такое? Мои товарищи, насколько мне известно, поцеловали вашу сестру? Подумаешь, беда какая! – сказал он уже по-немецки.

– Конечно, этой полоумной девчонке следовало влечь пулю, а не поцелуй за её оскорбительные выражения о славной германской нации и о главе её – нашем всемилостивейшем кайзере, – начал коснеющим от через меру выпитого вина языком ротмистр.

– Именно так пулю, а не поцелуй... так! – слышались пьяные голоса остальных.

– Постойте, мы придумаем нечто иное, и это будет во сто раз остроумнее, чем всякое другое наказание, – произнес Штейнберг со своей прежней ужасной улыбкой.

– Ру-до-льф... Вы?... И вы тоже заодно с ними? – потрясенная до глубины души, срывающимся шепотом произносить Вера.

– Что значить это «и вы тоже»? Я прежде всего – прус-

сак и враг славянства, а во-вторых... Но не стоить говорить об этом! Позовите-ка лучше сюда вашу красавицу, старшую сестру. Куда она спряталась? Чего испугалась? – внезапно переходя на русский язык и улыбаясь тою же наглой улыбкой, продолжает Штейнберг. – Я хочу показать моим друзьям, которые по моей рекомендации и приглашению заехали сюда по дороге, хочу показать им лучшую жемчужину вашей семьи. Да и сам я не прочь взглянуть на прелестную Китти, после того, как мне удалось снискать её расположение у себя, за границей, – поспешил он докончить, дерзко поглядывая на испуганных барышень.

– Что? Это что? – вырвалось у тех четырех сразу одним, полным ужаса, звуком.

Дыхание, казалось, остановилось в этот миг в груди Веры. Сердце словно перестало биться, и только искаженное судорогой страдания лицо жило еще одними своими, полными мрака и муки, глазами.

– Он лжет! Он лжет, этот подлец! Нельзя ему верить ни слова, – неожиданно вырвалось из груди Маргариты Федоровны, и она, как дикая кошка, рванувшись к Штейнбергу, вцепилась пальцами в его рукав. – Ты лжешь, мерзавец, проклятый немец, собака! Чтобы наша барышня, наша красавица, умница и тебя... могла... тебя... – в каком-то исступлении, трясясь всем телом, лепетала хохлушка.

Ню Рудольф даже не взглянул на нее: он так сильно потрянул рукою, что Марго, как слабая былинка, отлетела от него

в сторону.

Затем, обращаясь к одной Вере, он заговорил снова с циничной усмешкой на лице:

– Вы-то, надеюсь, поверили мне, милейшая фрейлейн, поверили тому, что ваша гордая, прекрасная сестра – Бонч-Старнаковская – а не кто-нибудь другая, заметьте! – принадлежала мне, как самая заурядная любовница, что она променяла на меня господина Мансурова, что она...

– Это – ложь, ложь! Не смейте клеветать на Китти! Низкий, грязный человек! – вне себя закричала Муся и разразилась истерическим плачем.

– Вы можете не верить, и я не стану настаивать на этом! – пожав плечами, продолжал Штейнберг. – Мне важно только, чтобы в это поверили вы, фрейлейн Вера. И по вашим глазам я вижу, что вы поверили мне. Правда, о таких случаях честные люди не говорят громко. Но со мною здесь, в этом доме, поступили бесчестно, и это дает мне право в свою очередь не считаться в условностях. Итак, я утверждаю еще раз, что девушка из прекрасной русской дворянской семьи, кичившейся своим именем, своими связями, аристократическим происхождением и своим положением в свете была моей любовницей. Ваш отец не пожелал отдать вас мне в жены и оскорбил меня, как последнего вора и преступника. Ну, так вот я и взял у него за это большее: взял в наложницы его гордость, его старшую дочь, вашу сестрицу Китти!

– Да замолчите ли вы, проклятый? – сорвалось с губ Мар-

гариты, тогда как Вера угрюмо молчала с застывшим, как мрамор, лицом.

– Еще одно оскорбление, и я прикажу вас расстрелять, сударыня! В моем лице вы оскорбляете мундир всей нашей прусской армии, – произнес Рудольф спокойным тоном, при чем его выпуклые глаза обдали Маргариту уничтожающим взглядом, а рука стиснула эфес сабли.

– Молчите, Марго, молчите, ради Бога!.. Верочка! Верочка!.. Что ты? Что с тобою? – испуганно пролепетала Муся, бросаясь от сестры к Маргарите и с плачем ломая руки.

С помертвевшим лицом и помутившимися глазами Вера смотрела секунду в самые зрачки Штейнберга и вдруг неожиданно и тихо-тихо, как подкошенная, упала на пол.

– Это ничего. Маленький обморок. Повеяется и встанет. Во всяком случае, такое ничтожное обстоятельство не должно мешать, господа, раз уже намеченной программе вечера, – небрежно бросил Штейнберг, обращаясь к своим коллегам. – Насколько я понял вас, эти девчурки позволили оскорбить честь немецкого мундира? – после минутной паузы спросил он у них.

– Хуже, коллега, хуже! Они непочтительно выражались о его величестве, самом все милостивейшем кайзере, – слышался чей-то нетвердый голос.

– Ага, так-то! Ну, в таком случае я заставлю их искупить эту вину, – продолжал Штейнберг, сдвигая брови. Пусть кричать «ура» его величеству императору Германии и королю

Пруссии.

– Или?

Рудольф, презрительно усмехнувшись и злобно сверкнув глазами, ответил:

– Да разве нет у нас солдат? Пускай расправляются с ними, как хотят!

* * *

В полутемной кухне горела одна только свечка. Рожок на стене был разбит кем-то из пруссаков под пьяную руку вдребезги. Несколько драгун, только что покончив с обильным возлиянием и ужином, были почти совершенно пьяны и собирались разместиться на покой.

Из комнат к ним сюда доносились крики, шум и женские отчаянные слезы под аккомпанемент пьяного хохота.

Солдаты прислушивались к ним несколько минут.

– Уж эти господа офицеры! – смеясь сказал сивоусый унтер, – умеют, нечего сказать, провести времечко! Давеча обходили все комнаты и забирали все, что можно забрать; оправдывались все реквизицией. Недурное дело – эта реквизиция, право! Управляющего приказали расстрелять за то, что он отказался открыть конюшню, прислугу выгнали из дома, а теперь потешаются вволю, – пугают здешних хозяек дома.

– Умора! – воскликнул другой солдат. – Штабной офицер

тут приехал, так тот все здесь знает, каждую нитку. Он, говорят, и отряд на постой пригласил сюда, и указывал нашим, где и что спрятано, а теперь никак допрашивает хозяек, не осталось ли у них еще что-нибудь.

– Как он допрашивает, – вмешался в разговор третий. – Просто душу отводит. Подходил я послушать у дверей. Штабный велит девчонкам «ура» кричать нашему кайзеру и армии. Ну, а те упрямятся. Смех, да и только!

– Стойте, стойте, товарищ!.. кажется, идут сюда...

Солдаты вскочили, и руки по швам вытянулись в струнку. Уже под самыми дверьми были слышны сейчас слезы, мольбы и вопли женщин, а громкий мужской голос, взбешенный и грубый, кричал на весь дом, на всю усадьбу:

– Эй, вы, кто тут есть! Сюда, драгуны! Живо сюда!

Глава VIII

Эти крики, дикий хохот и полный жуткого значения и угрозы голос достигли до слуха больной Софьи Ивановны, и она внимательно и чутко прислушивалась к ним. Она проснулась давно. Пламя костра, разложенного на дворе, освещало, как зарево, её комнату.

В спящем сознании больной медленно и лениво проползла мысль-догадка:

«Где-то горит!.. Где-то пожар! Надо сейчас же, скорее поднять, разбудить дочерей».

Больная сделала усилие встать. Как тяжело двигаться отекившим ногам!.. Едва передвигая ими, она встала с постели, кое-как нашла и надела капот... туфли.

– Китти! – жалобно прошептала она, – где ты, голубка? – и её лицо исказилось гримасой плача.

Вдруг остро и назойливо толкнулась в спящее сознание мысль:

«Это Китти кричит... Зовет на помощь... Надо идти, скорее идти... надо... помочь!».

Медленно и тяжело шагая, Бонч-Старнаковская пошла, хватаясь за встречные предметы, ища в них поддержку.

Она тихо вышла из спальни, миновала коридор, затем комнату Китти, приоткрыла дверь в нее и заглянула туда. Там не было никого, комната была пуста. А крики по сосед-

ству все усиливались.

«Теперь Мусечка как будто кричит, – с трудом соображала больная, – её голосок... Зовет па помощь».

– Не пушу! Не дам в обиду, не дам! – пролепетала она с блуждающей улыбкой и живо распахнула дверь, за которой звенел раздирающий душу крик.

Пятеро пьяных, едва имеющих силы стоять на ногах, немецких солдат метались по буфетной, распластав руки, стараясь схватить две тонкие, маленькие фигуры, то и дело быстро ускользавшие у них из-под пальцев.

А за стеною слышались те же пьяные песни и крики.

Муся и Варюша, несколько минут тому назад втолкну-тые к пьяным драгунам, с отчаянием и ужасом кружились по комнате, стараясь миновать протянутая к ним руки солдат.

«Нет, нет! Лучше смерть, нежели этот ужас, – вихрем пронеслось в голове юной хозяйки Отрадного. – Ведь не побоялись же мы с Варей послушаться их, не кричали же мы по их требованию „ура“ Вильгельму. Так неужели же теперь мы задумаемся обе пред тем, что выбрать, неужели „не сумеем предпочесть смерть позору?“»

Вслед затем Муся, сделав последнее усилие, бросилась в угол, чтобы миновать сидящего на табурете немца.

Вдруг потные, противные руки схватили ее.

– А-а-а! – вырвалось воплем ужаса из горла Муси. – А-а-а... спасите, спасите!

Но огромная ладонь в ту же минуту зажала ей рот, а лос-

нящееся от пота лицо, дыша винным перегаром, низко-низко склонилось над её лицом.

– Ну-ну. Зачем так кричать? Зачем так биться? Лучше обними меня, сердечко мое, да поцелуй послаще, деточка! – глухо, едва выговаривая слова, прозвучал над нею пьяный голос.

– Верочка! Верочка! Спаси! Марго! Варя! – исступленно крикнула Муся, отчаянно отбиваясь от стиснувших ее объятий.

В следующий затем миг такой же крик, но более глухой и жуткий, пронесся по всем закоулкам большого дома.

Дверь буфетной распахнулась наотмашь, и все находившиеся здесь солдаты замерли на месте с испуганно вытаращенными глазами.

– Кто это? Дьявол? Привидение? Ведьма? Исчадие ада наконец? – слышались возгласы.

Она была действительно страшна, эта женщина: худая, высохшая, как скелет, в белом, сидящем на ней, как на вешалке, халате, с седыми волосами, разбросанными по плечам, с жуткой, блуждающей улыбкой и с совершенно пустым взглядом безумных глаз. У неё было желтое, как воск, лицо и огромные, распухшие ноги. И, улыбаясь своей страшной улыбкой, она лепетала одно и то же:

– Не пуцу, не пуцу, не пуцу!

Всю жизнь будут помнить девушки тот ужас, ту панику ворвавшихся к ним мучителей в минуту появления Софьи

Ивановны. Они заметались и забегали по буфетной, отыскивая оружие, шепча что-то бессвязное себе под нос.

Обе они, и Варя, и Муся, воспользовались этой сумятицей и выскочили через буфетную на террасу, а оттуда – в сад.

Там, дрожа всем телом, они робко притаились в отдаленном углу в стенах старой беседки, неподалеку. У пруда.

* * *

Вера очнулась и открыла глаза, когда октябрьское утро уже светило в комнату. Она с трудом подняла голову.

Всюду вокруг валялись пустые и битые бутылки, коробки от консервов, куски хлеба, следы ночного пиршества отпечатывались на всем. Но в комнате никого не было; только на одном из стульев лежала второпях забытая кем-то из немцев каска.

Девушка с трудом приподнялась на ноги и, едва находя в себе силы двигаться от слабости, вышла в гостиную. Здесь все носило следы разрушения и погрома: разбитое зеркало, сорванные портьеры, исчезнувшие ковры.

И в её комнате, и у Китти, и у девочек все было также разграблено и опустошено. Были выдвинуты ящики комодов, где теперь и следа не оставалось от белья, опустошены платяные шкафы и буфеты; все они наглядно говорили о происшедшем здесь полном разграблении.

Двигаясь, как автомат, Вера пошла дальше, в спальню ма-

тери, и, к своему ужасу, не нашла в ней больной.

Она позвонила. Никто не явился на зов. Позвонила еще раз – то же молчание и абсолютная тишина царила в доме, точно все вымерло в нем.

С ледяным холодом в сердце девушка прошла дальше, через парадные комнаты в людскую и осмотрела ее.

Там тоже не было ни души.

На пороге буфетной что-то резко белело на паркете.

Вера приблизилась к огромному, распластанному на полу, предмету, и с тихим стоном отступила назад. На нее смотрели незрячие, мертвые, уже успевшие застеклеть, глаза Софьи Ивановны.

Вера ничего не могла сообразить; мозг словно застыл у неё, и она почти без сознания опустилась на близ стоявший стул.

Прошло полчаса.

Постепенно Вера стала приходить в себя и сознавать все, что произошло.

– Все кончено, – проговорила она вслух самой себе, и странно прозвучал её голос среди мертвой тишины дома. – Все кончено... Мама скончалась, Мусю они забрали с собою конечно, Варю тоже. О, они не пощадили бедных детей! И все это наделал Рудольф, он – главная причина всех бедствий!

Губы девушки произносили это имя; и ледяющий душу ужас волною захлестнул все её существо. Рудольф, тот, кого

она любила и кого ценила, как лучшее сокровище в мире, оказался величайшим негодяем, преступником, гадиной, о которой страшно подумать даже. Он никогда не любил ее; она теперь только поняла это.

И что он сделал с бедняжкой Китти? Да, сейчас она, Вера, знает, что из-за него случилось что-то непоправимое за границей с её сестрой. Недаром же Китти всю передергивало при одном имени Рудольфа в последнее время. А её отказ Мансурову, беспричинный, ничем не вызванный отказ? А эта резкая перемена в её внешности, её внезапное поступление в отряд Красного Креста. Да, несомненно, злодей не солгал.

А если все обстоит именно так, то стоит ли жить после этого? Их мать умерла – может быть, умерла ужасной смертью, видя бесчестие младшей дочери. И Муси нет? Что они сделали с обеими девочками? Куда подавали их? И Марго нет тоже. Проклятый! Это он погубил их всех, он, когда-то любимый так мучительно, так нежно!

«Неужели же и теперь я люблю его?» – и Вера задрожала от одной этой мысли.

Любовь... Неужели еще не умерло в ней это чувство к заведомому негодяю и злодею? А если нет, так пусть же она погибнет, нежели жить дальше с этим полным ужасов адом в душе!

Она вышла из сада и побрела по знакомой аллее. Обрывки мыслей плыли вместе с нею в её усталой, измученной голове.

Умерла мать... на пороге буфетной лежит её тяжелое, остывшее тело. Она, Вера, так и не могла поднять его и перенести на кровать. Погибла Муся... Где Анатолий, где Китти? Вернутся ли они? Ах, если бы вернулись! Но осиротеет тогда старик-отец. Ей, Вере, нельзя жить вовсе дольше с этим бременем в душе, мозгу и в сердце. О, она теперь не боится ничего! Смерть... Какой вздор! Жизнь страшнее... жизнь во мраке, с камнем в сердце от поруганной любви. Да, да, она решила бесповоротно! Это – неизбежно.

Черные глаза и строгое смуглое лицо встало перед нею на мгновение, жуткое лицо! Она едва помнила черты своей бабушки в детстве, но сейчас они до нелепости резко выступили в её памяти. Глаза старухи улыбались ей издали и манили куда-то. Вера знала – куда. Недаром же все находили у неё поразительное сходство с бабушкой, недаром же с особенной нежностью ласкала Марина Дмитриевна ее, Веру, когда она была еще ребенком. Может быть, она предчувствовала судьбу внучки, аналогичную со своей.

Вот и пруд, холодный и молчаливый, с суровой ласковостью играющий на солнце. Голые ветлы отражаются в нем. И серое небо тоже.

Вера остановилась на берегу пруда, посмотрела с минуту в воду, и оттуда опять взглянули на нее смуглое лицо с трагической складкой около рта, черные глаза, полные мрака, и сурово сдвинутые брови.

– Бабушка, это – ты? Иду! Иду к тебе, родная! – проше-

лестел чуть слышный шепот над прудом.

Или то играл ветлами осенний ветер?

– Верочка! Вера! – послышался отчаянный вопль со стороны сада, и Муся, а за нею Варюша и, Маргарита Федоровна побежали со всех ног к пруду.

Но Вера не слышала этого вопля, этого призыва живых. Её душа уже заглянула за грани иного мира. Быстро сотворила знамение креста её смуглая рука. Короткий всплеск, широкие круги на воде – и все было кончено.

Муся долго рассказывала потом, исходя в слезах, как увидели они из своей засады прибежавшую к пруду Веру, как поняли, зачем она явилась сюда, как мчались предупредить несчастье и не успели, опоздали спасти сестру.

Немцы ушли из Отрадного внезапно. Кто-то пустил слух, что идут казаки. Разграбив и забрав с собою все, что было возможно забрать и разграбить, враги-насилыники бежали отсюда среди той же роковой и памятной для обитателей Отрадного ночи.

После их ухода понемногу стала стекаться бежавшая в панике прислуга.

Труп Веры скоро отыскивали в пруду и схоронили вместе с телом Софьи Ивановны – пока что, до поры, до времени – в саду усадьбы. Погребли рядом и жертву немецкого варварства, никому не сделавшую зла, управляющего усадьбой. Его флейта теперь замолкла навсегда.

С первой же представившеюся возможностью Муся с Ва-

рей Карташовой и Маргарита Федоровна, чудом спасшиеся от несчастья, поспешили уехать из этих жутких мест в Петроград, к убитому горем, вдвойне осиротевшему Владимиру Павловичу. Только там они узнали о поражении наглых тевтонов под Варшавой и беспорядочном отступлении немецкой армии.

Когда этот момент наступил, Владимир Павлович Бонч-Старнаковский с младшей дочерью вернулся в Отрадное за телами дорогих усопших и перевез их в столицу, в фамильный склеп.

Глава IX

Снова пестрый город, снова суета, движение, звонки и глухое завыванье трамваев, патрули, транспорты раненых, партии пленных – и огромное белое здание под флагом Красного Креста.

К этому белому зданию подъезжает простая сельская галицийская тележка без рессор, неистово грохочущая по мостовой.

– Сюда! Сюда! Остановитесь, пожалуйста! – возбужденно-взволнованно бросает молодая женщина, которую галичанин-возница подвозит к крыльцу.

Зина, прокружив с добрую сотню верст, прежде чем попасть снова в этот старый чудесный город, снова подъехала к крыльцу главного лазарета, где работает Китти. Когда она хотела пробраться на передовые позиции, её не пустили. Анатолий ничего не ответил на её письмо.

Ей посоветовали уезжать обратно и переждать. Но, прежде чем попасть сюда, частью по железной дороге, частью в этой ужасной одноколке, пришлось долго кружить, выбирая путь, не занятый войсками и обозами, отважно и безостановочно подвигающимися вперед. Наконец Зина попала снова в эти шумные улицы, но с какою ужасною тревогою на душе! Ни весточки, ни единого слова от любимого человека. Где он? Что с ним? Она ничего не знала о нем. Теперь

оставалась последняя надежда на Китти. Хоть что-нибудь да должна она была знать про брата!

И сердце Зины трепетало, когда она вошла в уже знакомый подъезд с развевающимся над ним флагом с красным крестом.

– Боже мой, Зиночка, на тебе лица нет, родная! – и Китти нежно обнимает кузину.

Ланская смотрит на нее и не узнает двоюродной сестры. Это – не Китти, а лишь её тень. Как исхудала и изменилась она!

– Пустяки, работы много, – отвечает она на тревожный вопрос Зины. – Вот кончится война, отдохну, отосплюсь, растолстею. А ты-то... Ты на себя взгляни, Зинушка! Милушка, или случилось что?

– Ужасно, Китти! Просто не знаю, что и подумать. Я ничего не знаю о нем. Я так и не видела маленького Толи, – отрывисто бросает молодая женщина.

– Боже мой, Зиночка!.. Так разве ты не знаешь? А я думала, что тебе прислали сказать, что тебя уже известили... – смущенно роняет Бонч-Старнаковская.

– Чего не знаю? О чем известили? Что такое стряслось? Говори скорей, говори все!.. Ради Бога не мучь, Китти!

Кровь отливает от лица Зины, и вся жизнь теперь сосредоточивается у неё в глазах.

Она бессознательно хватается руку кузины и до боли стискивает её пальцы.

– Говори! Говори скорей! Он убить? Да? Умер? Да? – и ей кажется, что бездна раскрывается у неё под ногами в эти минуты и что кто-то, кто сильнее её, толкает ее вниз, в эту бездну. – Скажи, Китти... Скажи, что знаешь! Не мучь меня! О, умоляю, не мучь!

Китти, лаская ее, отвечает:

– Зиночка, милая, успокойся! Толя жив. Успокойся, Зина, голубчик!.. Он только ранен. И он – здесь.

– Здесь? – воплем вырывается из груди пострадавшей женщины, и она делает страшное усилие над собою, чтобы не рухнуть в темную бездну, которая тянет ее к себе.

– Здесь. Собери все силы, голубчик, не волнуй его! Ему вредно волнение. Будь веселой и бодрой, как прежде, как всегда! – и Китти, взяв двоюродную сестру за руку, ведет куда-то.

Но Ланская решительно не может дать себе отчет, куда ее ведут, не видит ни кроватей, ни раненых, ни санитаров, ни сестер, ни врачей. Только одно лицо, одни глаза она видит, слабо блеснувшие ей навстречу с крайней койки.

– Зи-и-на-а! – долетает до её уха какой-то слабый, надорванный, глухой голос.

Бледное лицо, однотонное с белизной наволочки, без признака живой, теплой крови, поражает своим измученным, страдальческим видом, своей худобой. Огромными кажутся глаза среди осунувшихся черт труднобольного.

И только глаза живут: они бледно сверкают и одни напо-

минают еще о жизни. Невольно в поле зрения бросаются черная отросшая бородка, заострившийся нос, впалая грудь и крестик Георгия, приколотый поверх сорочки на этой исхудалой груди.

– Зи-и-на!

Ланская останавливается в двух шагах от постели, с минуту молча смотрит на это безумно-дорогое лицо, на впалую грудь, на крестик – отличие героя. И вдруг горячая волна безграничной нежности и муки ударяет ей в сердце, толкает ее к больному, бросает на колени. Вслед затем, охватив его руками, она, не будучи в силах сдержаться, рыдает навзрыд.

Зина плачет долго-долго, со сладким отчаянием, с безнадежной радостью.

А раненый нежно, с невыразимым, захватывающим выражением шепчет на разные лады одно только единственное слово:

– Зи-и-на!

Наконец Ланская приходит в себя от легкого прикосновения его пальцев к её голове, и её слезы исчезают сразу.

Теперь её влажные от слез сверкающие глаза вдруг выбрасывают из недр души целое пламя, целый океан чувства, а дрожащие губы шепчут:

– Любимый мой, герой мой, счастье мое! Зачем ты тогда не приехал, не ответил, не позвал меня? Я страдала, потому что любила. Ведь я любила и люблю тебя, ненаглядный!

– Милая! Я не мог... Война... Поручение... А потом...

Потом меня ранили, Зина, – тихо говорить Анатолий.

– Да, да! – подхватывает она с жаром. – Я люблю тебя, и никто теперь нас не разлучит. Я умру вместе с тобою. Жить и умереть с тобою... Да, да, только это... Иного не хочу и не могу.

– Зиночка, радость моя!

– Как ты ранен? Как, любимый мой? Но все равно!.. Что бы ни было, я с тобою... Всегда с тобой!

Анатолий внимательно смотрит на нее, а затем тихо спрашивает:

– Даже если я останусь калекой, Зина?

– Да, да, да!

Мертвенно бледное лицо Анатолия, на которое после заданного им вопроса легла тень тревоги, вдруг все светлеет, и он, задыхаясь от восторга, восклицает:

– Ангел мой, спасибо тебе! А теперь поцелуй меня. Я счастлив.

Зина порывисто бросается к своему «маленькому Толе» и в тот же миг с испугом за эту свою неосторожность, за этот порыв, откидывается назад, вся дрожа от волнения.

– Я тебе сделала больно? Твои ноги... Ты ранен в ноги, маленький? Да? – лепечет она, уже издали лаская Анатолия взглядом, заметив судорогу страдания, промелькнувшую у него в лице.

Бонч-Старнаковский горько улыбается.

– Нет, Зина, мне не больно, успокойся, моя голубка! Моим

ногам не может быть больно... Не может, потому что... их нет... Нет вовсе у меня, Зина...

Что? Или она ослышалась? Какой ужас!

Со стоном падает она на грудь Анатолия головой и целует его плечи, лицо, шею и георгиевский крестик, топя в беззвучных слезах это новое горе, сразившее ее.

А он, лаская её пушистые волосы, говорит в это время тихо, чуть слышно:

– Да, я – калека, детка моя. У меня нет ног, их ампутировали обе. Мой скромный подвиг, если можно назвать подвигом тот случай с мостом, давший мне сладкое сознание, что благодаря нам удалось еще раз нашей армии нанести поражение неприятелю, – этот случай стоил мне моих ног и сделал меня калекой. И если ты не знала этого, Зина, и теперь страшная перспектива быть женою калеки пугает тебя, то лучше откажись, пока есть еще время!

– Молчи, молчи, ненаглядный! Я люблю тебя, каков бы ты ни был, и клянусь любить тебя так всю мою жизнь...

Теперь Зина сидит долгими часами у постели дорогого раненого. Скоро она повезет его в столицу. Безногий, обездоленный, он ей дороже во стократ того здорового и жизнерадостного Анатолия, каким он был прежде. Теперь у неё в жизни новая, прекрасная цель: дать счастье несчастному, своей нежностью, заботами и любовью заставить его забыть о горе, отнявшем так много у него, такого еще молодого, всецело полного жизни.

Китти не может смотреть без слез на эту трогательную пару. Она не ожидала от Зины, легкомысленной кокетки и эгоистки, какую у них считали в семье Ланскую, такого удивительного самоотвержения, такой жертвы.

И Китти припоминается другой подвиг самоотречения, другая жертва. Весь трагический её роман с Мансуровым теперь постоянно проходить у неё в голове, особенно с тех пор, как Анатолий рассказал ей, кому он обязан своим спасением, кто подобрал его под пулями неприятеля, презирая опасность, и доставил, исковерканного снарядом, на пункт.

О, этот великодушный Борис! Толя несколько раз звал в бреду Мансурова, и теперь, поправляясь, все чаще и чаще говорить о нем. И из этих разговоров Китти вынесла вполне твердое убеждение, что её встреча с Борисом теперь неизбежна.

И, действительно, вот они стоят один против другого. Китти не смеет поднять на него взор, и сердце её полно отчаянья и любви.

Пользуясь краткой передышкой в работе, она тут, подле Бориса, приехавшего навестить Анатолия, пока их часть, меняя расположение позиций, идет мимо города.

Мансуров смотрит на опущенную золотую головку, на смущенные глаза и истаявшее личико, видит волнение и радость, охватившие Китти при свидании с ним, и точно что-то освещает его сознание ярким, непоколебимым светом.

«Эта девушка любить тебя!» – говорить кто-то в его душе,

настойчивый и мудрый, и вливает прежнюю радость в душу, угасшую было в горе. Он весь воскресает снова. Словно раскрываются пред ним двери склепа, в который заживо погребла его беспощадная жизнь. И, когда он уходит, сопровождаемый Китти из палаты и видит все то же взволнованное, бледное личико, то смотрит ей в глаза и помимо собственной желанья говорить:

– Екатерина Владимировна, скажите! Ведь то был сон, мучительный и страшный кошмар?

Китти смущенно взглядывает на него.

– Да, кошмар, Борис, да! – слышится её тихий голос.

– И вы не забыли меня?

– Никогда, Борис, никогда! – твердо отвечает Китти.

– А тогда, когда говорили те жестокие, те жуткие слова, тогда...

– Я говорила их против своей воли, Борис.

– И...

– И любила вас, Борис, не переставая, все время, все время.

Мансуров весь загорается радостью; от волнения он почти задыхается и лишь с трудом находит силы спросить:

– Дитя мое, так почему же?

Китти на минуту задумывается, видимо борясь с собой. Наконец она тихо говорит:

– После, после, Борис. Я вам скажу об этом лишь тогда, когда окончательно исчезнет мой кошмар, когда дальней-

шие труд, искупление, великая любовь и страдание за других окончательно сотрут мои собственные муки.

– О каком искуплении вы говорите, дорогая? Что бы ни было, какая бы страшная вина ни лежала на вас, я не смею даже говорить, заикаться о возможности прощения. Вы выше всего этого, Китти. И верьте мне, радость моя! Когда бы вы ни позвали меня, я приду к вам и почту за счастье, за особую честь назвать вас тем же, кем вы были раньше для меня.

– Благодарю вас, Борис. Я принимаю от вас это счастье, но пока, милый, дай мне довести мое скромное, маленькое дело, дай мне исполнить свою задачу до конца! Я должна на время забыть наше личное счастье и послужить тем, кто беззаветно идет на великий подвиг самоотречения, а там я – твоя, и уже навсегда, до могилы.

– Я буду ждать, Китти. Я запасусь терпением, дорогая, – говорит Борис, целуя бледные руки любимой женщины.

Они расстаются снова, но каждый уносит с собою радость облегченного страдания и пламя новой надежды.